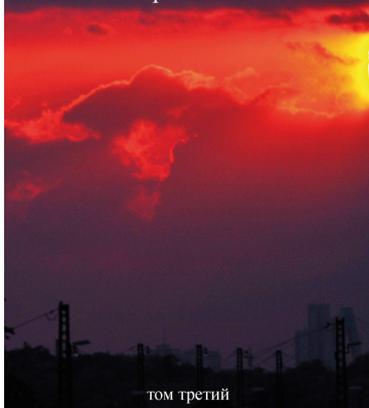


Вацлав
Михальский

Тайные милости

роман



том третий

Вацлав Вацлавович Михальский

Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Тайные милости

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9528823

Вацлав Вацлавович Михальский. *Тайные милости. Том третий*: ООО «Издательство
«Согласие»; Москва; 2015
ISBN 978-5-906709-13-4, 978-5-906709-10-3

Аннотация

Вот уже более ста лет человечество живет в эпоху нефтяной цивилизации, и многим кажется, что нефть и ее производные и есть главный движитель жизни. А основа всего сущего на этом свете – вода – пока остается без внимания.

В третьем томе собрания сочинений Вацлава Михальского публикуется роман «Тайные милости» (1981–1982), выросший из цикла очерков, посвященных водоснабжению областного города. Но, как пишет сам автор, «роман, конечно, не только о воде, но и о людях, об их взаимоотношениях, о причудливом переплетении интересов».

«Почему „Тайные милости“? Потому что мы все живем тайными милостями свыше, о многих из которых даже не задумываемся, как о той же воде, из которой практически состоим. А сколько вредоносных глупостей делают люди, как отравляют среду своего обитания. И все пока сходит нам с рук. Разве это не еще одна тайная милость?»

Содержание

Тайные милости	5
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Вацлав Михальский

Том третий. Тайные милости

© Михальский В. В., 2015

* * *

Тайные милости

I

Георгий приснился себе маленьким. Сидит в большой комнате на горшке, катает рукой по полу самодельную автомашинку, ловко выстроганную отцом из сосновой чурки, – с нарисованными радиатором и кабиной, с перламутровыми пуговками вместо фар, с пустыми катушками из-под ниток вместо колес. В кухне отец напевает вполголоса по-итальянски свою любимую «Санта-Лючию», – значит, еще жив... Мать, собирая на стол, стучает тарелками. Солнечный зайчик горячо светит в лицо Георгия, и от этого ему особенно тепло, сладостно, весело. Пахнет кипяченым молоком. За открытым окошком чирикают воробьи. Звенят на мостовой обручи – мальчишки катают их наперегонки проволочными держакками, перекликаются друг с дружкой; хлопает о стену дома резиновый мяч – хлоп, хлоп; мяч большой и плохо надутый, потому что хлопает громко, с цмоканьем. «Санта Лючи-ия там-да-да-ра-да-да», – напевает отец; с ритмичным цокотом строчит на швейной машинке мать – скоро будет у Георгия еще одна пустая катушка! «Сан-та Лю-чи-ия...»

И вот сама святая Лючия, а попросту Люська-второгодница, спускается откуда-то к ним во двор... Кажется, она приехала из Брянска или Орла, – в общем, откуда-то из России. Ей лет пятнадцать, у нее белокурые локоны до плеч и полные нежные губы, и говорят, что она целуется лучше всех на их улице. Она целует Георгия долго-долго, так долго и так горячо, что он вмиг наливаясь ростом, становится большим, и уже кружится от желания голова – сладостно, жутко, как в отрочестве...

Тут-то и задрезжал всеми своими железками бездушный будильник, вырвал его из горячего омота молодого сна... Георгий приоткрыл нагретые солнцем веки, зажмурился, отвернулся от бьющего в лицо луча, потянулся всем телом, высвобождаясь из забытья. В квартире пахло чуть подгоревшим молоком. Во дворе гулко шлепал об асфальт мяч, и тем отчетливее, тем слышнее была между шлепками тишина.

– Ирина, вставай! – раздался из глубины квартиры бодро-суровый голос Надежды Михайловны. – Ты хоть когда-нибудь встанешь вовремя или нет? Как всегда! Вон Ольга уже проснулась и не спит, играет. Ты давно нас ждешь, Ольга?

– Ага, я уже жду, жду – усе жданки полопались! – радостно крикнула из детской трехлетняя Оля или, как ее зовет Георгий, Лялька.

«Усе жданки полопались – это у нее от бабы Маши. – Георгий невольно улыбнулся. – Удивительное дите – просыпается часов в шесть и полтора часа лежит в своей кровати, ждет, пока все проснутся, занимается сама с собой и хоть бы пискнула когда!» Сейчас ему вести Ляльку к бабе Маше. Такой порядок – утром отводит он, а вечером забирает жена.

– Ирина, вставай, ты должна завтракать!

«Почему она должна завтракать? Девчонка первый день на летних каникулах, почему ей не поспать в свое удовольствие? – раздражаясь, подумал Георгий. – Почему она не дает детям никакого послабления?!»

Мимоходом встретившись с женой в широком и длинном коридоре, Георгий сказал ей в двух словах о первой части своего сна.

– К прибыли. Ты у нас везучий, – буркнула Надежда Михайловна и при этом улыбнулась так скованно, так кисло, что Георгию стало не по себе, праздничное настроение стухало.

Как и было положено, сели завтракать в восемь ноль-ноль.

– Правда, что Ивакина утвердили? – дрогнувшим голосом спросила Надежда Михайловна, намазывая хлеб маслом, – она все ела с маслом, даже курицу.

– Угу, – буркнул Георгий полным ртом, глядя прямо в голубые глаза жены и с тайным восторгом думая о второй части своего молодого сна, о спустившейся с небес Люське-Лючии...

– Ольга, пей молоко и не ерзай в стульчике, – сделала жена замечание младшей дочери, сидевшей вместе со всеми за кухонным столом на высоком, закрытом перекладинкой детском стульчике. – Ирина, куда ты смотришь? И не глотай, как утка. Жуй хорошенько. Пищу надо прожевывать. Не учись у отца.

«Как только с ней люди работают? – подумал Георгий. – Не дай аллах быть в ее подчинении, замучает до смерти своей правильностью».

– Значит, утвердили. Как всегда, как всегда. – Надежда Михайловна вздохнула с печальным глубокомыслием. – Растут люди... И ты голосовал «за»?

Георгий кивнул.

– М-да-а, – протянула Надежда Михайловна. – А мы этого Ивакина исключали. Он же уголовник! В кинотеатре на барабане играл!

– Ну что ты, Надя! – Георгий взглянул на жену с недоумением. – Он ведь тогда первокурсником был, мальчишкой. Сколько воды с тех пор утекло...

– Хорошенькая у тебя философия. – Надежда Михайловна презрительно хмыкнула. – Я понимаю, с такой философией легче жить. Всепрощенческая – сегодня я тебя прощу, а завтра ты с меня не взыщи, э-ха-ха... идеалы, принципы – зачем? для чего? кому это надо?! Э-ха-ха...

Георгий видел, что Надежда Михайловна рвется в бой, но не стал спорить, заставил себя замолчать. Он знал все, что она скажет – слово в слово. И не только по поводу молодого Ивакина – его вчера утвердили директором мотороремонтного завода. Да, в юности Ивакин играл на барабане в оркестрике, что заполнял паузы перед началом киносеансов. Да, когда-то он подрался из-за девушки, и за это его наказали. Но ведь ему было восемнадцать лет, и к тому же, как выяснилось при повторном разборе происшествия, Ивакин был прав – его оскорбили. Оскорбитель плюнул в лицо девушке Ивакина, а тот избил его. Может, чуть суровее, чем это укладывалось в рамки законности, но как он мог дозировать свою месть? Не подавать же ему было на оскорбителя в студком! Утереть любимую девушку и идти писать заявление: «Прошу рассмотреть...» Ивакина вышибли отовсюду, судили, дали три года и оправдали только при пересмотре дела Верховным судом. Потом, со временем, его восстановили и в комсомоле, и в институте. В общем, парень хлебнул, что называется, горячего до слез. А по Надежде Михайловне получается – закрыть Ивакину дорогу навечно. По мнению Надежды Михайловны, все, кто моложе ее, но занимают более высокие должности, – выскочки, шелкоперы, жулики, подхалимы, приспособленцы, карьеристы и т. п. А вот Ивакин, оказывается, – уголовник! В тридцать один год уже директор крупного завода – еще бы не уголовник!

«Ну, если Ивакин – уголовник, то кто же тогда, по ее мнению, я? Ведь в тридцать один я сел на свою нынешнюю должность, а она куда больше ивакинской!» Стараясь подавить улыбку, Георгий нагнулся под стол, делая вид, что у него соскочил с ноги шлепанец.

Ему не раз давали понять и прямо, и косвенно, что, по справедливости, следовало бы выдвигать ее, Надежду Михайловну, а выдвигали его, Георгия. Притом выдвигали с такой скоростью, что он даже не успевал привыкнуть к очередным своим сослуживцам. «Дуракам везет», – говаривала Надежда Михайловна вроде бы безадресно, в философском смысле, но Георгий-то точно знал, что в первую голову она имеет в виду его, собственного мужа. При очередном броске Георгия вверх по служебной лестнице она поздравляла его, так скорбно поджав губы, так отводила глаза, что было ясно: она – жертва тягот семейной жизни, жертва

двух детей и мужа. Она так и говорила: «Я отдала вам все!» А что это было за все, никто не знал. Можно было только догадываться, что это нечто большое, чему и названия нет.

Лялька скорчила старшей сестре рожицу, Ирочка не осталась в долгу. Шалость прошла незамеченной. Ум и душу Надежды Михайловны всецело занимало повышение Ивакина – она его «исключала», можно сказать, секла принародно, а теперь он, видите ли, директор! Нет правды на земле!

– Но нет ее и выше, – усмехнувшись, сказал Георгий.

– Что?

– Да так... вижу, ты думаешь: «Нет правды на земле», вот и добавил.

Надежда Михайловна смотрела на него как на полоумного.

– Это из «Моцарта и Сальери», – терпеливо напомнил Георгий.

– Ты что, читаешь мысли на расстоянии? – зло спросила жена.

– Бывает, – ответил Георгий, расплываясь в улыбке, не в силах сдержать вдруг нахлынувшую на него радость при виде ясноглазой румяной Ляльки.

Была под спудом этого разговора за завтраком и всех других разговоров подобного рода одна тонкость – Надежда Михайловна считала, что Георгий обязан своей карьерой только ей, ей и никому больше. Нельзя сказать, что это вполне соответствовало действительности, но нельзя также и отрицать определенные заслуги Надежды Михайловны в этом плане. Когда они познакомились, Надежда Михайловна – а в те времена Наденька Бойцова – работала инструктором райкома комсомола в том райцентре, которому подчинялась восьмилетняя аульская школа, где учительствовал Георгий. Он попал в эту школу по распределению после окончания областного пединститута. Георгий преподавал историю в пятых-шестых классах, начинал привыкать к тому, что его называют Георгий Иванович. Ему шел двадцать четвертый год, и он не помышлял о женитьбе. Он думал отработать в ауле три положенных года и вернуться к маме – других планов у него в то время не было.

Наденька Бойцова приехала от райкома проверять школу, влюбилась в молодого историка, ее ровесника, стала поддерживать его своей властью, пропагандировать в райкоме и в районе. Она была очень хорошенькая, крепенькая, ладненькая, ее голубенькие глазки сияли живым светом нерастраченной молодости. Как и Георгий, она попала в этот нагорный район после окончания педагогического института, только другого – свердловского. Наденька была активистка с малых лет, и ее почти сразу же взяли из школы, где она преподавала математику, в райком комсомола.

Они стали встречаться с Георгием каждую неделю. Когда не было попутных машин, он ходил к ней пешком за тридцать километров. А иногда случалось так, что она выходила ему навстречу из райцентра, и они бросались в объятия друг друга на белой горной дороге, хохотали и дурачились до упаду. Вскоре умер директор той маленькой сельской школы, где работал Георгий, и тогда, не без протекции Наденьки, исполняющим обязанности директора назначили Георгия. До этого он и не помышлял об административной карьере, а тут неожиданно выяснилось, что вполне справляется с новой должностью, что у него природная организаторская жилка. Через три месяца Георгия утвердили директором, а еще через три – призвали на год в армию. К тому времени Наденька уже была беременна от него. Она сообщила об этом Георгию, приехав навестить его в армию, – он служил недалеко, в трехстах километрах. Служил инструктором по комсомолу политотдела дивизии, так что был свободнее других солдат. Здесь они и зарегистрировали свой брак.

Через год, ко времени окончания срока службы, Георгия хотели оставить в части, но он умолил своего начальника не делать этого, говоря, что по природе своей он человек штатский, что дома его ждут жена и новорожденная дочка. Показал даже фотографию Ирочки – пухленькой, с перевязками на ручках и ножках, привольно раскинувшейся на пеленке. Фотография подействовала. «Ладно, вольному воля, – сказал начальник политотдела, – а жаль,

офицер получился бы из тебя хороший». Видно, такая у Георгия была планида – любили его начальники, как будто видели в нем свою молодость, свою свежесть, свои бывшие надежды.

К тому времени Наденьку уже перевели инструктором обкома комсомола, она переехала в город и, когда Георгий демобилизовался, помогла ему устроиться в областную комсомольскую газету. Через год Георгий стал заведующим отделом, а потом редактор этой молодежной газеты уехал на повышение в Москву, и Георгий оказался в его кресле. В этой должности он и отработал в газете еще несколько лет. Работал хорошо, но дело ему не нравилось, он чувствовал себя не на месте – ему по душе были действия, а не их описания. Так что когда предложили уйти на партийную работу, он принял предложение с радостью и, распрощавшись с газетой, ушел зам. зав. орготделом в горком партии. Тут-то его и заметил Калабухов и еще через два года взял к себе в замы.

А Надя как была инструктором, так и осталась. Только когда вышла из комсомольского возраста, ее перевели инструктором в областной совет профсоюзов. Наверное, так сложилось потому, что свою должность инструктора она всегда понимала в буквальном смысле. Наденька, а теперь Надежда Михайловна, инструктировала всех и вся: дома, на улице, на работе. У себя на работе Надежда Михайловна сидела, говорила и двигалась с таким значительным выражением подсохшего и увядающего лица, с таким тяжелым укором в каждом жесте, в каждой интонации, вздохе, что ее сослуживцы, в том числе и начальники, ощущали этот укор точно так, как капуста в бочке ощущает на себе гнет. Они даже киснуть не могли в свое удовольствие.

– Ма, можно я пойду с папой отводить Ляльку? – спросила Ирина.

– А кто подметет пол в коридоре? Ты уже большая девочка, десять лет, а у тебя совершенно не развито чувство долга.

– Ма, ну я потом...

– Нет. Все надо делать вовремя.

– Передай водителю, что я пойду пешком, и пусть не заезжает за мной к бабе Маше, а едет прямо на работу, – сказал Георгий жене, выходя с Лялькой на руках из дверей квартиры.

Нянька жила недалеко от их дома, примерно в полукилометре, в переулках старого, еще глинобитного города, во дворе на двенадцать хозяев, где лачуги стояли стеной к стене. Баба Маша вырастила Ирину, а теперь растила Ляльку. Она воспитывала детей до трех лет, пока их не отдавали в садик, – вот скоро и Лялька уйдет от нее к коллективной жизни. Раньше баба Маша работала мастером на мебельной фабрике, что была через дорогу от ее жилища, а когда вышла на пенсию, стала нянчить чужих детей – своих у нее с мужем не было. В мазанке бабы Маши стояла прямо-таки непостижимая чистота – можно было на спор вытереть пол белым носовым платком, и платок бы остался чистым. Летом окошки в ее лачуге всегда были занавешены темным, и от этого в комнате царила глубокая, веселящая душу тень – особенно ценная оттого, что на улице с утра до вечера жарило солнце и частенько дул горячий, наполненный песком, словно густой, южный ветер «Магомет».

Муж бабы Маши Михаил Иванович – баба Миша, как звала его Лялька, – работал бригадиром грузчиков на холодильнике. Из всех знакомых Георгия это был самый рослый, самый сильный физически и, как казалось Георгию, самый чистый душою человек. Росту в бабе Мише было два метра два сантиметра, он весил сто сорок килограммов, мог выпить за вечер пять бутылок водки и остаться в своем уме, а ел на удивление мало, как ребенок. В субботу баба Миша сам нянчил Ляльку, а баба Маша ходила по делам – в магазин, на базар или еще куда. Лялька, как и когда-то Ирина, любила его беззаветно, при виде бабы Миши она готова была бросить всех – мать, отца, бабу Машу, мать Георгия – бабу Аню, Ирину. В субботу он обычно лежал на полу, занимая едва ли не всю свободную площадь комнатки, а Лялька лазила по нему, как по горе, – это могло продолжаться, к обоюдному их удоволь-

ствию, часами. А то он сажал Ляльку к себе на ладонь и делал ей «козу», и оба хохотали и радовались жизни с одинаковым упоением.

– А я вышла вас встречать, – щурясь от солнца, сказала баба Маша, когда они подошли к мазанкам. – Где, думаю, моя Лялька!

– Вот она! – радостно крикнула Лялька и подняла ручки вверх, призывая бабу Машу взять ее к себе.

– А дед все ждет тебя, ждет... Когда же ты придешь? – принимая Ляльку на руки, с укоризной глянула она в глаза Георгию своими глубоко запавшими серыми, видно, очень красивыми в молодости глазами.

– Зайду как-нибудь. Обязательно. Я помню, что обещал, но так получилось...

Недавно у Михаила Ивановича был день рождения. Георгий обещал прийти поздравить его, как приходил, бывало, и раньше, еще с тех пор, когда они нянчили Ирину, но не пришел. Только жена передала их общий подарок – огромную синюю рубаху с воротом пятьдесят шестого размера: шея у Михаила Ивановича была, как у Ильи Муромца. Надежду Михайловну баба Миша боялся, потому что слышал, будто она считает его алкоголиком. А какой же он алкоголик, если выпивает всего два раза в месяц – с аванса и с полочки? Это ведь дело законное. Перед Надеждой Михайловной баба Миша робел, не мог и слова вымолвить, а Георгия любил всей душой, поэтому и звал на свой праздник его одного – для компании, для дружеской беседы. Хотя Михаил Иванович и не мог связать вместе больше десятка слов, беседы им всегда удавались. Когда они беседовали с Георгием, всегда было ясно, кто что сказал и почему. Между ними не возникало никаких недомолвок, фальши, затаенных обид – все было чисто, как на ладони.

– В ближайшее время обязательно зайду, – твердо сказал Георгий, – так и передайте Михаилу Ивановичу. Обязательно.

– Ладно, – кивнула баба Маша, не очень уверенная в том, что Георгий сдержит свое слово.

Тут и подкатила к ним белая «Волга».

– Садитесь, Георгий Иванович, – открывая дверцу, улыбнулся шофер Искандер.

«Все-таки приехал, – подумал Георгий с неудовольствием, – до чего ты мне надоел своей услужливостью!»

– Здравствуй. – Георгий сел в машину, и они поехали по утренней улице к центру города.

– Георгий Иванович, моя жена видела вас по телевизору, – жуликовато улыбаясь и наклоняя над рулем молодую плешивую голову, чтобы видеть глаза начальника, сказал Искандер. – Очень вы ей понравились. Говорит: «Какой Георгий Иванович красивый мужчина!»

Георгий вспомнил свое недавнее выступление по местному телевидению, где он держал речь о нуждах и задачах городского хозяйства, о жилищном строительстве, и ничего не ответил на лесть шофера, только подумал, что Искандер работает у него «за квартиру», – иначе бы этот молодой хитрец давно нашел себе место позаработнее, потеплее.

«Если бы перешел ко мне Али, как было бы здорово! Но ведь не пойдет, на междугородном автобусе – он король, а здесь что? Но как было бы хорошо с Али! Шофер должен быть свой. А этот Искандер еще совсем молоденький, но до чего у него лисья улыбочка, до чего он все знает и везде был. Работает всего полгода, а уже давит на психику со своей квартирой. Квартиры, квартиры, квартиры... Всем нужны квартиры, и все атакуют беспрестанно – прямо, косвенно, через третьих, через четвертых лиц. Строят много, а все не хватает и еще долго будет не хватать. Как ни странно, некоторые семьи до сих пор живут в бараках...»

– Через тридцать минут поедем на водовод, – бросил он Искандеру, вылезая из машины у подъезда здания старой постройки, с высокими венецианскими окнами, с кариатидами под балконами.

– Есть! – обиженно козырнул Искандер, недовольный тем, что начальник пропустил мимо ушей его лесть. Выходит, он даром старался.

Потянув за львиную морду литую медную ручку, Георгий открыл высокую массивную дверь и вошел в прохладный вестибюль бывшего дворянского собрания. Сидевший за столом милиционер поднялся и отдал ему честь. Георгий кивнул в ответ, улыбнулся милиционеру своей хорошей, признанной улыбкой и стал подниматься по устеленной красной дорожкой широкой лестнице к себе на второй этаж.

– Привет начальству! – догнал его на ступеньках Толстяк – кругленький, лысенький, веселенький, сорокапятiletний, с глазками, масляно поблескивающими из-под очков. Толстяк догнал его, обогнал и тут же уступил дорогу, приоткрыв перед Георгием инкрустированную цветным деревом дверь в приемную, из которой расходились пути в кабинет Калабухова и в кабинет Георгия. Толстяк проделал свой маневр как бы нечаянно и вместе с тем услужливо, как бы глумливо и вместе с тем почтительно, как бы нагло и вместе с тем робко. Он проделал все это так, что в его жестах запечатлелась вся гамма отношений к Георгию не только самого Толстяка, но и многих других сотрудников. Приоткрыл перед Георгием дверь, дружески подмигнул ему и побежал на коротких ножках в глубину широкого коридора к своему кабинету.

Георгий посмотрел вслед Толстяку без симпатии, но и без неприязни. Он обладал великим даром относиться ровно и хорошо ко всем без исключения, и еще он умел молчать и улыбаться. Его обаятельная улыбка, доброжелательность и молчаливость делали свое дело не хуже слов и поступков. Хотя и слова и поступки Георгия тоже не были дурными – никогда никому не навязывал ошибочного решения, никто не слышал от него грубого слова, окрика, никто не видел его льстящим начальству. Но, как ни странно, все это, вместе взятое, не помешало, чтобы именно Георгию, а не кому-то другому прикрепили ярлык: «Этот пойдет по трупам, этот ни перед чем не остановится!»

Ярлык пустил в обиход Толстяк. Он сказал эту формулу несколько раз в разных компаниях, и с тех пор стали подгонять под нее Георгия, говорили о нем другим людям, плохо его знавшим: «Этот пойдет по трупам, этот ни перед чем не остановится!» А те, кто знали Георгия плохо, в свою очередь передавали тем, кто не знал его вовсе, с видом значительным и причастным: «Этот пойдет по трупам, этот ни перед чем не остановится!»

По штатному расписанию у Калабухова – шефа Георгия – было четыре заместителя; Толстяк один из них, как и Георгий. Но, в отличие от других замов, Георгий не имел определенного участка работы и считался негласно вторым человеком после шефа. Когда Калабухов уезжал или был болен, он оставлял за себя только Георгия и требовал, чтобы тот сидел не в своем, а в его огромном, представительском кабинете, чтобы все звонки, все люди выходили на Георгия, и самое главное – те люди, которые будут звонить по прямым телефонам, минуя секретаршу. Калабухов считал, что эти люди должны привыкнуть к Георгию, к его голосу, к его интонации. «Пусть он выполняет их указания, их просьбы, их требования, пусть они и Георгий взаимно адаптируются», – думал он. Были у шефа на то свои соображения.

В первый же отъезд Калабухова, когда он оставил за себя Георгия, Толстяк преподавал ему урок дипломатии. Нужно было провести совещание по подготовке к зиме, но шли дни, а совещание откладывалось.

И тогда Георгий сказал Толстяку как негласному второму заму: «Слушайте, надо же провести совещание, а то шеф придет и скажет: „Вдвоем оставались и ничего не сделали!“» – на что Толстяк ответил: «Вот и хорошо. Он придет, а мы ничего не успели сделать. Я

думаю, ему будет приятно – мы с тобой вдвоем не смогли сделать, а он сделает все в один день. Шеф будет доволен».

Логика в этом заявлении конечно же была. Еще какая! Но Георгий все-таки провел совещание до приезда шефа. По многим причинам, в том числе и потому, что побоялся – а вдруг Толстяк хочет его «подставить». Вполне возможно, что Толстяк и не руководствовался такими низменными мотивами, что он лишь хотел поделиться своей мудростью, своей высшей дипломатией. Сам Калабухов знал за Толстяком его дипломатию, его желание отсидеться за чужими спинами. Говорил о Толстяке с усмешкой: «Он всегда согласен с каждым последующим оратором». Знал, говорил и держал около себя вот уже двенадцать лет, – видно, тоже соблюдал свою дипломатию, в свои игры играл шеф.

Георгий работал с Калабуховым около двух лет, но уже поговаривали, что он целит на его место, что у него «рука наверху», что она его «тянет со страшной силой», а, как известно, «против лома нет приема».

И никто почему-то не хотел замечать, что Георгий по-настоящему хороший работник: у него ясная голова, он быстро считает в уме и предлагает единственно правильный вариант, он не предвзят в суждениях, держит слово, умеет взять на себя ответственность. Говоря языком футбола, Георгий видел в игре все поле, а не только мяч у себя под ногами. Он работал со вкусом и увлечением. Но все это почему-то никто не брал за причину его стремительного продвижения вверх по служебной лестнице. Наверное, так было удобней людям – такое толкование оправдывало их собственную немочь, разгильдяйство, лень, равнодушие к делу. Однако нельзя сказать, что все были слепы или предвзяты по отношению к Георгию, – некоторые видели в нем незаурядного работника, лидера. И главное – понимал и ценил это Калабухов.

В приемной уже поджидал Георгия дед Микроб – сидел на стуле перед самой его дверью.

– Что он вам, обязан, что ли? – сурово спрашивала деда секретарша.

– Как вы глупо говорите, вы бы лучше молчали на вашем месте! – высокомерно отвечал дед.

Как всегда в летнее время, дед Микроб был в полотняной рубашке, подпоясанной наборным кавказским ремешком, в полотняной фуражке с высокой тульей, в чесучовых штанах и в растоптанных коричневых штиблетах на босу ногу. Голые щиколотки деда отсвечивали слюдяной, ломкой кожей. Дед Микроб получил свое прозвище за навязчивую идею не подхватить микробов и не заразиться. В потертом кожаном портфелике, который он держал сейчас на своих острых коленях, всегда лежала стопка аккуратно нарезанной газеты. Всякий раз, прежде чем взяться за что-нибудь рукой, дед Микроб вытаскивал из портфелика очередной кусочек газеты и брался этим кусочком, а потом выбрасывал его.

Георгий знал деда еще со времени работы в молодежной газете. Фотокорреспондент газеты Лева приходился деду племянником. И в ту пору дед регулярно приходил к ним в газету и царапался в Левину дверь, требовал его из красного закутка фотолаборатории на божий свет, к ответственности, – вымогал у него полтинник. «Левик, – царапался дед в фанерную дверь, – Левик, у тебя что в уме, я уже не имею денег на витамины!»

В позапрошлом году Левик погиб в автомобильной катастрофе, и дед Микроб стал ходить за «витаминными» деньгами непосредственно к городским властям. Еще в первый свой приход сюда он заявил, что «видел» залп «Авроры». Именно «видел», а не слышал, из чего, по мнению деда, само собой вытекало, что власти должны подкармливать его до гробовой доски. У Левика он брал полтинник, а теперь, видимо, учитывая девальвацию или из уважения к дающим, повысил ставку до рубля. И вот так каждый день – то Калабухов, то Георгий давали ему по очереди «витаминный рубль». Дед Микроб стал у них чем-то вроде дополнительного налога, не предусмотренного в бухгалтерских графах.

Георгий покорно вынул рубль. Дед взял его заранее приготовленным куском газеты, сунул в портфель, а бумажку выбросил в урну. Надев фуражку, дед Микроб победно взглянул на секретаршу, крутнул пальцем у седого виска – дескать, не все у тебя дома, – вынул из портфелика новую бумажку, взялся ею за ручку двери и торжественно удалился.

Едва Георгий вошел в кабинет, постучался посыльный. Вынул из тонкой кожаной папки и положил на стол перед Георгием сводку чрезвычайных происшествий за минувшую ночь.

По чину Георгию не полагалось этой сводки, но шеф сделал для него исключение, мотивируя это тем, что часто бывает болен, а нужно принимать срочные решения безотлагательно. Пока Георгий знакомился со сводкой, посыльный скромно ждал, отойдя к высокому, чисто вымытому окну, смотрел, как на улице мальчишки сшибают камнями кошку, залезшую высоко на дерево.

Сводка была рядовая.

Убийство из ревности.

Два отравления: одно пищевое – пирожками горпищеторга, второе – умышленное, искусной эссенцией. Оба исхода, естественно, смертельные, о других бы не докладывали.

Самовозгорание электрической сети на ткацкой фабрике – пожар удалось ликвидировать без жертв и большого материального ущерба.

А вот смешное: с торговой базы угнали машину водки, по документам номер машины оказался номером молоковоза этой же базы, что стоял там же, во дворе, безвыездно двое суток. «Молодцы ребята, – подумал Георгий, усмехаясь, – наглость хода великолепная!» Ему нравилось это выражение – «наглость хода». Он услышал его однажды по радио, в интервью одного велосипедиста. Велосипедиста спросили: «Почему ты обогнал всех?» А он ответил: «В мою силу было человек десять, но у них не было наглости хода, а у меня была». Кажется, гонка шла по улицам Мадрида.

Вернув сводку посыльному и расписавшись в ознакомлении, Георгий сел было за свой стол, но тут же решил, что следует заглянуть к шефу.

Когда Георгий вошел, Калабухов пил воду из тонкого стакана, крепко держа его отечной рукой, так крепко, что подушечки пальцев расплющились на стакане и, переломленные водой, показались зоркому Георгию огромными и нездорово белыми. За день шеф выпивал два графина воды, жажда мучила его постоянно, как и всех диабетиков. А временами на него нападавал волчий голод, и тогда он через каждые полтора часа запирался у себя в задней, «хитрой», комнатке и жадно ел принесенное из дому. Шеф не выставлял свой недуг напоказ и не любил говорить на эту тему. Мало кто знал и о том, что шеф самолично «колется». Георгий знал. В самом начале своей работы у шефа он зашел однажды к нему в кабинет и, не найдя его там, заглянул в приоткрытую дверь «хитрой» комнатки. Шеф стоял со спущенными штанами и делал себе укол в бедро. Георгий хотел отойти неслышно по толстому ковру, но шеф заметил его в зеркале, заметил, но тоже не подал виду, оценив тактичность Георгия.

– Садись, – сказал шеф с привычной грубоватостью. – Если, конечно, не спешишь, – добавил он с легкой усмешкой на бескровных губах.

– Спешу, Алексей Петрович, надо ехать на водовод, хочу посидеть у них на планерке.

– Когда планерка?

– Через сорок пять минут. Если сейчас выеду, то успею. Я и зашел сказать, что еду.

– Ничего, поедешь на планерку в другой раз. Садись.

Георгий пожал плечами и подчиненно опустился в кресло перед большим, крытым зеленым сукном столом шефа, положил локти на приставной столик. Кресло было мягкое, низкое, так что шеф получался высоко вверху, а посетитель низко внизу. Георгий как-то подумал, что это старая мода и пора ее сменить, пора поставить к приставному столику стулья вровень со стулом шефа, вывести на один уровень просителя и распорядителя, – это будет

современно и психологически убедительно. У себя в кабинете Георгий уже давно так сделал. Когда сидишь на одном уровне с просителем, легче отказывать, не так обидно для того, кто просит. Он-то может этого и не осознать, но подкорка ведь работает независимо от человека.

– Ты что хмурый? Небось перепил! – утвердительно спросил шеф, обнажая в улыбке бескровные десны стершихся зубов.

– Да так... – неопределенно ответил Георгий, думавший в этот момент о приснившейся ему утробе матери, о том, как давно он у нее не был.

– Завидую... – истолковав неопределенность ответа так, как ему того хотелось, сказал шеф. – Завидую. Ничего, дело житейское. Главное, чтобы тихо и... как это было сказано, а? – он шелкнул пухлыми пальцами, призывая Георгия напомнить ему расхожую цитату.

– Главное – знать, где, с кем, когда и сколько, – подсказал Георгий.

– Вот-вот, золотые слова. До сорока можно, потом опасно. До сорока хороший организм держит любую нагрузку, после – опасно. Опасно... – задумчиво повторил шеф. Видно, с этим его умозаключением было связано что-то конкретное и болезненное, его сугубо личное, что он ценил как собственное открытие в этой жизни. – А мне нельзя... Иногда знаешь как хочется...

Георгий настороженно смотрел на Калабухова, понимая, чувствуя всем сердцем, что в его словах нет для него, Георгия, никакого подвоха, никакой опасности. Ему было странно, когда шеф говорил с ним не как с подчиненным, а как с приятелем (хотя какие в его положении могут быть приятели), а точнее – как с соседом по купе, говорил с той степенью искренности и человечности, которая необходима, когда ведут разговор к чему-то важному, значительному как для одного, так и для другого собеседника.

Пауза длилась долго. Шеф умел «держат паузу», для него она была инструментом познания человека, возможностью перерешить что-то в последние секунды, выиграть время, собраться с мыслями.

– Знаешь что, Жора, начну-ка я без обиняков. Мне пора перебираться к своим, в столицу. Ты меня понял?

Георгий пожал плечами. Он явно не знал, как реагировать, и, чтобы хоть что-то сказать, спросил:

– А кто у вас в Москве из близких?

– Мама на Ваганьковском.

«Неужели он хочет уйти на пенсию? Как инвалиду Великой Отечественной войны, ему, конечно, положено, персоналку ему дадут без разговоров, но он же такой молодой... Ему же еще нет шестидесяти...» – соображал Георгий.

– Я не на пенсию, Жора. Вижу, о чем ты соображаешь, – улыбнулся шеф. – Не на пенсию. Приглашают на работу, переводом. Должность большая, но, думаю, годика три потяну... А там и на покой. Да... раньше чиновники ехали на покой в провинцию, а теперь, видишь, в столицу едут служилые люди. Жизнь переменялась.

Заглянула секретарша, шеф сделал ей короткий знак рукой: мол, не перебивайте, не соединяйте, не мешайте... Секретарша поспешно прикрыла за собой массивную дверь.

– В пятницу Первому звонили из Москвы. Сегодня утречком он велел прийти. Сейчас от него. В принципе вопрос решен положительно. Попросил меня на лето остаться, до сессии, – беспокоит прежде всего водовод. Много писем в столицу. Водовод я поручил тебе, о чем и доложил Первому. Второе – его беспокоит, вернее, беспокоила кандидатура моего преемника. Я назвал тебя. Возражений твоя кандидатура не вызвала, так что имей в виду. Есть вопросы?

Георгий пошел румянцем, как девушка на смотринах в прежние времена.

– Сразу и не сообразишь...

– Соображай, сынок.

Шеф грузно приподнялся из-за стола, налил из графина в стакан хорошо отстоявшуюся воду, стал жадно пить крупными глотками.

– Никому ни слова, ни полслова. Считай, разговора между нами не было. О том, что меня отзывают в Москву, никто не должен знать, кроме тех, кто знает, понял?

– Понял.

– Вот так, Георгий Иванович, такая жизнь. Есть возражения?

– Неожиданно...

– Брось, неужто не примерялся к моему креслу?

– Что вы! В мыслях никогда не было! – горячо и необыкновенно искренне соврал Георгий, и шеф поверил ему. Поверил и порадовался, что вот так нежданно-негаданно осчастливил парня.

– Ладно, пока переваривай. Потом обсудим детали. За тридцать пять лет у меня тоже кое-какие идейки накопились, – пятое, десятое – по мелочевке, так что еще мы с тобой поговорим, а? Иди работай. Займись вплотную водоснабжением – во всем комплексе, досконально. От всех других дел считай себя свободным.

Георгий поднялся и вышел на деревянных, колких от мурашек ногах из кабинета шефа. В приемной он запнулся о стул, вдруг оказавшийся на его пути. Секретарша проводила Георгия удивленным, сочувствующим взглядом, решила: дал ему шеф взбучку.

«Вот это номер, – думал Георгий, – вот это номер! И никогда ведь не намекал, до чего скрытный человек. Когда уезжает в командировки, и то говорит об этом только накануне вечером, даже когда едет за границу. Вот это номер!»

«Хороший парень. Мой. Сам нашел, сам воспитал. Когда выйду на пенсию, будет к кому приехать на рыбалку, – с удовольствием думал шеф о Георгии. – Впрочем, годика через три его наверняка заберут в столицу, – может быть, и я приложу к этому руку. Обязательно приложу. Работник он ценный, за такого стыдно не будет. Сорок шестого года рождения... Когда он родился, я еще ширгал по этому городку на костылях».

Калабухов вспомнил свои костыли – легкие, удобные под мышками, замечательные костыли, подаренные ему в госпитале старым киргизом, у которого к тому времени ампутировали и вторую ногу. Тогда киргиз представлялся очень старым, а ведь ему вряд ли было больше сорока...

– Мне они не нужны, – сказал киргиз, отдавая костыли, – а ты на них летать будешь, отличные костыли!

Кажется, киргиза звали Вася. Его темное скуластое лицо было в оспинах и в синих пороховых точках, на желтых щеках серебрилась редкая щетина, хотя он и брился чуть ли не каждый день. Киргиз говорил по-русски без акцента, потому что жил в Чуйской долине среди казаков: его аил стоял по соседству со станицей.

– Наши казачки лихие, – с гордостью говорил киргиз Вася, – на ходу подметки режут!

Они лежали в одной палате, там же лежал и будущий отец Георгия – весельчак Ваня Курский, прозванный так по имени героя предвоенного фильма «Большая жизнь» за то, что родом был курский. Из всей многолюдной палаты он только и запомнил этих двух: киргиза Васю и Ваню Васильева – Курского. Васю – потому, что тот подарил ему костыли, а Ваню было невозможно не запомнить, его знал весь госпиталь. Благодаря Ване Курскому многие не пали духом, вылечились, встали на ноги раньше предписанного врачами срока. Ваня знал чертову тысячу анекдотов, частушек, прибауток, смешное виделось ему на каждом шагу, так что в их палате, бывало, целый день не умолкал хохот.

– Ваня, ну помилуй, черт, не смейся! – просили его соседи. – Больно смеяться – в раны отдаст!

– Ничего, – отвечал Ваня из своего угла, – если отдает, значит, еще живой, а раз живой – радуйся! Эх раз, еще раз, еще много-много р-раз! – И тут же заводил новую шутку, анекдот или розыгрыш.

Обижаться на Ваню было грех – это все видели; сам он лежал, обмотанный бинтами с головы до ног, как говорили врачи, – на нем живого места не было.

Ваня притих, только когда ампутировали ногу, – у него начала развиваться гангрена. Он потерял сознание, и ему сделали операцию. А когда Ваня окончательно пришел в себя и уверился, что ноги нет, он вдруг запел в полный голос. Он пел почему-то одну за другой неаполитанские песни на итальянском языке. Голос у него был чудный, а песни такие красивые, что к дверям их палаты собирались все ходячие, все свободные нянечки, сестрички, врачи. Ваня забирал так высоко, что все замирали от страха – сейчас, вот сейчас сорвется, – а он забирал еще и еще и всякий раз выходил победителем, плавно опускался с горных высот на грешную нашу землю. Слушая Ванины песни, многие плакали, – наверное, оттого, что уж очень все, вместе взятое, было нелепо: глинобитный кавказский городишко среди войны, гремящей уже на западных наших границах; калеченые русские, украинцы, белорусы, киргизы, казахи, армяне, грузины, был в госпитале даже один чукча; сам госпиталь, бывший когда-то школой, – и надо всем этим песни лазурного Неаполитанского залива на непонятном слушающим да и самому певцу итальянском языке, песни, напоминающие мирные, предвоенные дни, и сам певец, лежащий навзничь на узкой железной койке, на которой уже умерли до него многие. Была во всем этом великая Карна и Жля войны, ужас ее стальной и свинцовой бессмыслицы.

Так он пел иступленно часа три кряду, и все слушали затаив дыхание, забыв обо всем.

Потом крикнул:

– Все, братцы, концерт окончен! – отвернул лицо к стенке и пролежал два дня молча.

А проснувшись на третий день, как ни в чем не бывало стал отпускать свои шуточки. И первым делом сказал, улыбаясь, киргизу Васе:

– Зря ты свои костыли пацану отдал, я бы тебе за них тележку сделал. Продешевил ты, Вася, а пацан такой худой, что его на улице ветром сдует. Улетит – и вместе с ним твои костыли.

Да, в те времена его, Калабухова, звали пацаном – ушастый, бритоголовый, в свои девятнадцать лет он выглядел на шестнадцать, по весне у него еще выступали на носу конопущки. Чтобы казаться старше, он курил. Совсем недавно Алексей Петрович где-то вычитал, что люди курят в целях психологической защиты; наверняка это так и есть. А насчет смехотерапии Вани Курского он тоже недавно прочитал в одной тоненькой толковой медицинской книжечке цитату из записок средневекового врача: «Прибытие паяца в город значит для здоровья его жителей гораздо больше, чем десятки нагруженных лекарствами мулов». Так уж сложилось само собой, что в последние годы он только и читает что популярные медицинские книжки, полные мудрых и невыполнимых на практике советов. Здоровье его никуда не годится, а тогда ведь как был искорежен, а выкарабкался! Одно слово – молодость, и никакими советами, никакими лекарствами ее не заменишь.

Калабухов подумал, что Георгий вполне мог бы быть и его сыном: будь он посмелее, постарше, женись он на матери Георгия – в те времена их палатной медсестричке Анечке, худенькой, черноглазой, с густой темно-русой косой под белой косынкой (случалось, иногда косынка развязывалась, падала на плечи, и все видели, какая коса большая). Нет, чего уж лукавить на старости – не мог он тогда жениться на Ане. Куда ему было против Вани Васильева! Тот был старше его лет на шесть, весельчак, хват парень. И самое главное, Ваня Васильев был, по сравнению с ним, человек опытный в любви, а он-то ушел на фронт нецелованным, прямо от школьной парты, в щель крышки которой читал украдкой «Красное и

черное» Стендаля. Да, когда среди урока вошел в класс посланец из военкомата, он читал вот таким образом именно о Жюльене Сореле.

– Мальчики, встать! – вежливо и твердо сказал пожилой мужчина из военкомата. Поднял и увел их за собою.

Из семнадцати в живых остались только двое – он и Костя. Это Костя зовет его теперь домой, в Москву. Он одинок совершенно и тоже страдает диабетом. Начинили воевать вместе в народном ополчении под Москвой, а потом война развела их. Костя провоевал все четыре года, участвовал в штурме Берлина и вернулся домой целехонький, а он попал в сорок третьем на минное поле и не прошел его. Так и оказался в тылу, в госпитале этого приморского городишка, где было тогда тысяч пятьдесят местных жителей и полмиллиона беженцев и где все школы и другие более или менее крупные здания были отданы под госпитали. Он думал, что здесь не задержится, а вот уже катится тридцать пятый год его здешней, временной, жизни...

Удивительно, но с сорок первого года и по сей день он так и не удосужился дочитать «Красное и черное» Стендаля.

«Интересно, что там дальше, чем дело кончилось? – подумал вдруг Калабухов, наливая себе очередной стакан воды из графина. – Надо бы почитать, черт-те что получается. Считай, чуть ли не за сорок лет некогда было дочитать... Через три месяца истекут сроки полномочий, сессия утвердит нового человека, а я уеду и по дороге, в поезде, обязательно дочитаю насчет Жюльена Сореля. Обязательно дочитаю. Дорога длинная, почти двое суток. Надо сказать Розе, чтобы напомнила об этой книжке. Истечет срок полномочий... истечет...» Его душевное внимание вдруг остановилось, словно натолкнувшись на препятствие, – «истечет срок», «истекут полномочия», «истечет жизнь»... Именно «истечет». Раньше он никогда не задумывался над этим словом, а сейчас вдруг живо увидел, как «истекают» его дни, – точно так, как течет бурый песок в стеклянных песочных часах, когда жена Роза ставит себе горчичники. У Розы больное сердце, она часто ставит горчичники и завела для этого случая песочные часы. Она говорит, что так ей удобно. «Я должна следить, у меня кожа нежная, иначе все сожжет на груди». А он, по правде сказать, не присматривается и давно уже не помнит, какая у нее где кожа. В молодости не присматривался, а сейчас и подавно. В последние годы чуть ли не каждый день переворачивает Роза свои часы, и все течет, течет у него перед глазами песок – из одного стеклянного конуса в другой. Так и его жизнь переворачивалась все эти годы почти Розиной рукой – переворачивалась, переворачивалась, да и вытекла вся...

Он был влюблен в Аню, а женила его на себе Роза – тоже бывшая медсестра в том госпитале, ее сменщица по дежурствам.

Он всю жизнь рвался в свою родную Москву, а прожил в этом приморском городишке, который на его глазах превратился в город, где он стал, в некотором смысле, первым лицом, но так и не стал своим человеком.

Шеф вспомнил железный красный бак с тухлой водой, полный размокших окурков – «козых ножек», вспомнил плавающие в темной воде крупные зерна махорки и лепестки цветущей груши. Бак стоял под старой, но еще плодоносящей грушей, у глинобитной стены госпиталя – весной и летом здесь было место для ходячих курильщиков. А весна тогда была необыкновенная, единственная в своем роде – весна Победы! И уже было ясно, что медсестра Аня любит Ваню Курского, – у того были перебиты обе руки, и она прикуривала для него, впрочем, как и для других лежачих, «козьи ножки». Но для Вани она прикуривала совсем не так, как для других. Это все видели, все понимали и завидовали ему все, даже целые, те, что были с руками и с ногами, те, что надеялись на полное выздоровление и полноценную будущую жизнь. Он не завидовал. Просто ему было тошно жить, и он не мог смотреть, как она входит в палату, как делит свое внимание между всеми, вернее, старается поделить, а ноги сами несут ее к Ване Васильеву. Так что, когда Аня входила в палату, он

старался выйти и до горечи во рту, до отупения курил под старой грушей, опираясь на замечательные, удобные под мышками, ненавистные костыли Васи-киргиза.

Роза жила через дорогу от госпиталя, в глинобитной мазанке с окном в потолке. Розин отец погиб в самом начале войны, а мать умерла давно, когда была она еще первоклашкой, так что растили ее дед и бабка. Маленькие, сухонькие, похожие на добрых гномов, старики летом торговали водой. Дед, как более крепкий, носил воду в большом чайнике, укрытом мокрым стеганым чехлом, на вокзал, к поездам, а бабка – к бане и мечети, что были на соседней улочке. Лето всегда здесь стояло знойное, на холодную воду спрос был большой. Осенью на вырученные от продажи воды деньги они покупали мешок семечек, жарили их на примусе и всю зиму торговали семечками. Торговля шла копейная, зато старики были при деле и неуклонно двигались к своей главной цели – скопить внучке приданое.

Роза сказала, что даст ему почитать «что-нибудь интересенькое», и он приширгал к ней на своих костылях, думая об умершем в тот день Васе-киргизе.

Его поразило окно в потолке – довольно большое, замеченное пылью и оттого слабо пропускающее жгучий солнечный свет. В комнатке и в коридорчике перед ней вкусно пахло жареными семечками – этот запах пропитал здесь все. Книжек у Розы действительно оказалось очень много – целая этажерка. Он стал водить по корешкам книг пальцем, а Роза подошла к нему сзади и, будто бы помогая ему выбрать, стала тоже водить пальцем по его следу, все сильнее и сильнее прижимаясь к его спине своей полной грудью. Он потерял равновесие и чуть не упал на этажерку, но она подхватила его, обняла – и остальное случилось само собой, словно во сне. Наверное, он был не первый, кого Роза приводила к себе в дом, но об этом всю свою жизнь шеф старался не задумываться.

Скоро он выписался из госпиталя и стал жить у Розы, потому что считал: после того, что с ними случилось, иначе и быть не может. Старики радовались пошедшему в приимы зятю и настаивали на свадьбе «по всем правилам». Но тут деда хватил удар, он слег, и они просто зарегистрировали свой брак в загсе: Роза была беременна и настояла на немедленной регистрации. А став законной женой, вдруг решила не рожать ребеночка.

– Куда он нам сейчас, – объяснила свое решение Роза, – дед лежит, бабка тоже плохая, ты еле ходишь.

Она побоялась нужды, побоялась тягот и неизвестности материнства – тайно от всех сделала аборт.

Бабка ругала ее «глупой шалавой», обливалась слезами, дед не разговаривал с Розой едва ли не месяц, а Калабухов в глубине души был рад такому исходу, потому что к этому времени прошла в нем угарная радость обладания первой женщиной, и он уже точно знал, что не полюбит Розу. С тех пор жена уже никогда не беременела, хотя и желала этого горячо, страстно. Всю жизнь она лечилась, где только ни была по этому поводу: и в Москве, и у знаменитого травника на Алтае, и у какого-то чудо-гинеколога в Чехословакии, но так и оставалась бездетной.

Наверное, Роза выбрала его в мужа не случайно, наверное, чутье подсказало ей, что он человек с характером: медленно, словно исподволь, поднимался, рос, как растет на каменистой горе из занесенного ветром семечка карагач, – сначала хилый, кривенький, а год от года все более видный, крепкий, цепко, словно в горсти, держащий своими железными корнями расколотую им породу. Помаленьку отбросил костыли, помаленьку окончил десятый класс вечерней школы, потом заочно политехнический институт, стал работать мастером, потом главным инженером завода (того самого, куда вчера они утвердили молодого Ивакина), потом его назначили директором этого завода, затем он возглавил трест, а пятнадцать лет назад добрался до своего нынешнего поста.

– Если вы позволите войти? – приоткрывая дверь кабинета, прервал воспоминания Калабухова его помощник Аркадий Борисович.

– Давай.

– Если вы помните, у меня отпуск в июле... – Помощник смолк, приближаясь к столу шефа, надеясь, что тот отреагирует на его слова и ему не надо будет говорить то, что он сказать боялся: Аркадию Борисовичу не терпелось получить к отпуску новую модель автомобиля «Жигули», о котором хотя и неточно, но вроде бы договорено с шефом.

Калабухов молчал, все еще цепляясь душой за обрывки воспоминаний, за свою дорогую молодость, прошедшую в залитых водой окопах, в упорных трудах и нелегких болезнях.

«Этот меня не поймет. Всю жизнь протанцевал, сукин сын, и теперь все танцует!» – подумал о своем помощнике Калабухов.

А тот приблизился к его столу почти вплотную и теперь соображал, улыбаясь изо всех сил: сесть ему или подождать приглашения?

Помощник шефа Аркадий Борисович был мал ростом, сухощав и энергичен до такой крайней степени, что, даже сидя на совещаниях, он непрерывно перебирал коротенькими ножками – все еще танцевал в армейском ансамбле, где прошла его молодость. При этом сдвинутая к носу и косо разрезанная ртом физиономия Аркадия Борисовича скользила в такой лицемерной улыбочке, как будто он только что по ошибке наелся сладкого мыла и пытается скрыть это даже от самого себя.

«Метр с кепкой» – называл его Али-Баба, который знал Аркадия Борисовича с детства. «Слушай, – жаловался он как-то Георгию, – приходил этот ваш „метр с кепкой“, обещал, три литровый банка черный икра взял, обманул – и все!»

А злые языки говорили, что дома у Аркадия Борисовича его кабинет оборудован под канцелярский: большой письменный стол, а к нему приставной столик и два низких мягких кресла. Говорили, что в выходные дни Аркадий Борисович сидит за столом в своем домашнем кабинете и от административной тоски выбивает ребрами ладоней «лезгинку», которую исполнял, бывало, их армейский ансамбль. А когда шалит его младший сын, Аркадий Борисович приказывает жене: «Лиза, пригласи ко мне в кабинет Гарика, пусть зайдет». И, ковыряясь в носу, нехотя входит к нему на прием пятилетний Гарик...

– Если бы мне удалось, если, конечно, это возможно... – Аркадий Борисович присел одной своей коротенькой ножкой на ручку кресла перед приставным столиком шефа. – Если...

– Если крышка котла открыта, то и собака должна иметь совесть, – медленно выговаривая слова и ласково улыбаясь Аркадию Борисовичу, сказал Калабухов, – ты ведь не для себя берешь, а на продажу, и уже не первую...

– Если, если... – Аркадий Борисович побледнел, соскользнул с ручки кресла и стал пятиться задом от стола, проклиная себя, что начал разговор не вовремя, сглупил, не разведав обстановку, не выяснив настроения шефа, не подкатившись к нему с каким-нибудь положительно решенным делом или мелкой услугой. Он панически боялся этого состояния шефа, когда тот начинал вдруг ласково улыбаться, глядя прямо в лицо собеседнику, и медленно выговаривать тихим голосом каждое слово в отдельности.

II

«У каждого свои заботы – у кого суп пустой, у кого жемчуг мелкий», – любил говаривать старый философ Али-Баба – шофер междугородного рейсового «Икаруса», сосед Георгия по старой даче. Так оно и есть – у каждого свои заботы. С той минуты, как Калабухов сказал о возможном повышении, Георгий только и думал что о будущей должности. Не ожидал он такого молниеносного броска через три ступеньки, не предвидел, не думал, что это произойдет так быстро. Видно, права Надежда Михайловна, когда говорит, что он, Георгий,

везучий, что везде выедет – на случае, на «честном слове», на совпадении, бог знает на чем, но обязательно выедет.

Еще позавчера вечером, в пятницу, жена уехала с девочками на новую дачу, а Георгий остался дома. Сказал, что нужно «покопаться с бумажками», что якобы в понедельник у него доклад, – ему нестерпимо хотелось побыть одному, поразмыслить, осознать предложение шефа. Но что-то оно плохо осознавалось. Чем больше Георгий думал, тем туманнее становилась перспектива. Было неясно главное: хорошо это или плохо? Справится он или нет? Если справится, то слава богу! А если нет. Одно дело – шагать в упряжке, и совсем другое – быть за кучера. Город сложный, одного начальства здесь в три яруса – город областной. За день Георгий раз десять принимался пить чай, валялся на кушетке, пытался читать то Чехова, то Мопассана, то Лермонтова. Классики не давали ответа на вопрос – у них были свои заботы. Прослонявшись до вечера по квартире, Георгий лег спать сразу же после программы «Время». А сегодня, в воскресенье, проснулся с рассветом и вдруг решил поехать на старую дачу. Она называлась старой или маминой, потому что была еще и другая, новая – служебная дача Георгия, та самая, на которую жена увезла детей. На новой даче были и цветной телевизор, и кухня, и ванная, и сменное постельное белье, и стояла она на самом берегу моря, далеко за городом, среди других служебных дач. А старая дача приткнулась на городской окраине, до нее можно добраться на троллейбусе. Георгий был уверен, что застанет здесь маму, а встретил Али-Бабу.

Наверное, от жары водка отдавала нефтью, пить ее не хотелось, но Али-Баба был неумолим:

– Э, Георгий, пей водыка, пей! Целый неделя думаешь, выходной сегодня – тоже думаешь, кончай, да!

– Не хочу, пей сам, я не хочу.

– Георгий, обижаешь. Почему, Георгий?

– Ну что ты, Али, просто не хочется.

– Ишто такой – не хочется, начинай, да, – захочется. Пей водыка – эта единственный спасенья от наша жара!

Они сидели под пыльной яблонькой на откатавшей свое, огромной лысой автомобильной крышке. Водка, хлеб, головка старого чеснока, перья молодого лука, розовенькая, прямо с грядки, в крупинках земли редиска, соль в спичечном коробке – все это лежало на газете, на иссушенной зноем земле, внутри того круга, который замыкала крышка.

Али-Баба торжественно поднял граненую стограммовую стопку и сказал то, что он говорил обычно по такому поводу все долгие годы их знакомства:

– Дорогой Георгий, этот маленький бокал с большим удовольствием разреши за тебя, да? Будь здоров – остальное купишь! – И выпил одним махом, не глядя, не морщась, как настоящий, крепкий, малопьющий мужчина.

«Сейчас Али начнет меня воспитывать: дескать, зазнался, дескать, большой начальник, с простыми не пьешь, – подумал Георгий. – Чуть что – все сразу заводят одну и ту же песню. А если ему сказать о предложении Калабухова? Вот кто действительно обрадуется! Нет, нет, ни в коем случае... говорить об этом нельзя ни с кем. А как хочется! Как это, оказывается, важно – поделиться, посоветоваться... Завтра новая рабочая неделя, завтра займусь водоснабжением – на всю катушку, изо всех сил, пока не раскручу это дело. Город задыхается без воды, сотни жалоб, десятки писем, в том числе и на самый верх, в столицу».

– Слушай, раньше хорошо было, я читал, да, – внимательно посмотрев в глаза задумавшегося Георгия, продолжал разговор Али-Баба, вытирая о штаны редиску и забрасывая ее себе в рот, словно семечко, – раньше было хорошо: умирает, например, фараон – мужчина, и с ним кладут его жены, любовницы вместе кладут. Они это дело знают и пылинки с него дуют, да, боятся, чтобы умер. Хорошо, правильно. А теперь что? Ишачишь на этот

жена целый день, сутки, недель, месяц, год, а с ней все права, а с тобой – пфу-у, ничего! Ты мужчин – поэтому по советской закон уже перед ней виноват, валлах так, да. Георгий, извини, да, ты начальник, большой чилафек – все знают, все боятся, все уважают. А ты свой жена Надежда Михайловна боишься? Боишься, я знаю. А кто он такой, а? Индюшка, да! Самый настоящий индюшка!

– Али...

– Что – Али, я пятьдесят лет Али, я тебе люблю! Я почти твой старший брат, почти дядя! Твой отец мне был почти старший брат, жизнь спасал. Ты знаешь...

– Знаю, Али, знаю... – Георгий добродушно улыбнулся.

– А ты мой напарник знаешь – Сорок разбойников? Меня Али-Баба из-за него прозвали, знаешь?

– Знаю, мы здесь на даче виделись.

– Да, правильно. И знаешь, этот Сорок разбойников такой, как ты, точно, его весь город дрожит, любой мужчин, а жена бьет чувяк по голове, я сам видел, только ему не говори, да?!

– Ну, меня, положим, не бьет...

– Ничего, будет.

– Спасибо.

– Кушай на здоровье, кушай лук, да.

– Ладно, дай-ка стопку, – неожиданно решил Георгий, потрогав языком острые края больного зуба. Заело его насчет жены, как будто занозу вогнали в сердце. Завтра он впряжется в работу как вол, а сегодня можно расслабиться... В конце концов, он имеет право выпить рюмку водки не за чинным банкетным столом, в унылой толпе соглядатаев, а вот так, запросто, со своим человеком, пусть «не его круга», как говорит Надежда Михайловна, но своим, по-настоящему искренним, по-настоящему любящим его, а не льстящим или ожидающим лести.

– Вот видишь, я говорил, пей, – захочется! – просиял Али-Баба.

И правда – вторая стопка пошла еще веселей, водка гораздо меньше отдавала нефтью и стала даже как будто не такой теплой. Стопки у Али были полноценные, так что после второго захода в бутылке осталось на доньшке, а Георгию вдруг как никогда остро захотелось выпить – основательно, по-мужски, поговорить, пожаловаться, «поплакаться в жилетку» Али-Бабе. Теплая водка на жаре быстро брала свое. Георгий представил на волосатой груди Али жилетку от своего серого парадного костюма, улыбнулся до ушей и радостно хлопнул того по отвисшему животу.

– Да, да, ты смейся, смейся над старый чилафек, – поняв по-своему его детский смех, сказал с философской печалью в голосе Али-Баба, – от этой жизнь вся грудь седой стал, сам видишь.

– Она у тебя давно седая, – чувствуя, как деревенеют от хмельной улыбки скулы, сказал Георгий.

– Баллах, это тоже правильно, – согласился Али-Баба.

А солнце жарило во все лопатки, а до вечера было еще далеко, и еще можно было обрезать сухие ветки с деревьев, и подбелить стволы, и опрыскать кусты винограда, и полить весь участок из широкой общей канавы с медленно текущей мутной водой, и прибраться в домике, и еще переделать кучу дел. Да, все это, конечно, можно было бы успеть до вечера, можно, но... не об этом сейчас шла речь, теперь, как говаривали в горисполкоме, «стоял вопрос другой».

Али разлил по стопкам последнее, что оставалось в бутылке.

– И-слушай, я раньше хотел спросить, но немножко стеснял, да... – Али замялся.

– Слушаю. – Георгий прервал затянувшуюся паузу и поймал себя на мысли, что сказал это «слушаю» точно так, как привык говорить в своем рабочем кабинете: доброжела-

тельно, настороженно, ласково и чуть-чуть строго, обнажая в привычной полуулыбке безукоризненно ровные белые зубы, о таких в народе говорят – сахарные. Эта его полуулыбка очень располагала людей – было в ней что-то подкупающее, чистое, почти детское. Георгий знал ей цену.

– И-слушай, Георгий, ты можешь бронировать хороший номер в «Кавказский пленница»?

– Не понял?

– Я говорю – Москва, гостиница «Россия» я говорю.

– Тьфу ты, – засмеялся Георгий, – ну и народ – все переиначит по-своему! Зачем тебе хороший номер? Люкс?

– Люкс – это как будет?

– Бывают люксы трехкомнатные, бывают четырехкомнатные, бывают пяти, ну а если ты принц...

– Нет, нет, – прервал его Али, – лучше два комнаты.

– Значит – полулюкс, что ж, могу. А для чего тебе, если не секрет? С какого числа, на какой срок?

– С любой число, хоть с завтра, а насчет самолет у нас есть свой чилафек: любой рейс делает на одна минута – фь-и-и-и-ить, и мы с Сорок разбойников уже улетаем, фь-и-и-и-ить – и уже в Москва! Понимаешь, автобус стоит, наш автобус – автоматик совсем пропал – гидромuft, автобус стоит – деньги теряем, сам понимаешь!

– Зачем вам из-за какой-то детали лететь в Москву? У вас в автопарке есть отдел снабжения – пусть они и заботятся, я завтра же позвоню Мамедову, и все будет в порядке, – горячо сказал Георгий.

– Вай, что ты говоришь, Георгий! – испуганно округлил глаза Али. – Что ты говоришь, думай, да! Наш автобус – наше дело, при чем здесь директор парк товарищ Мамедов, а? Нигде на складе этот гидромuft нет. Гидромuft не такой простой вещь, чтобы он валял как собака, это очень серьезный вещь. И еще нам нужен фильтры, и еще пробковый прокладка для картер этот гидромuft, хотя бы пять штуки, и еще специальный масло, красный масло группа «А» – специально для автоматик. Ребята говорят, этот масло там от американский машин можно доставать сколько хочешь. Много нужно. Наш автобус стоит, а у товарищ Мамедов голова должен болеть? Вах, Георгий, ну ты позвонишь, например, его, скажешь: «Здравствуй, Мамедов, давай Али гидромuft!» Он что тебе скажет? Он тебе скажет: «Здравствуй, родной Георгий Иванович, валлах, спасибо тебе, что сказал насчет гидромuft, очень большой спасибо, обязательно все сделаем, очень спасибо об ваш забота об мой автопарк!» Так он тебе скажет, а нас с Сорок разбойников быстро с работы – фь-и-и-ить! «Иди гуляй, малчик! Гидромuft хочешь? Нет гидромuft. Иди гуляй!»

– Да я его самого тогда в два счета – фь-и-и-ить! Ты что-то не то говоришь, Али!

– Э-ха-ха, Георгий, ты совсем на другом планет живешь. Живи, пожалуйста, нам не мешай, я тебя очень прошу, как старший брат. Только не обижай на меня – я сам знаю, как лучше, как хуже.

– Смотри, тебе видней. А почему нужен именно хороший номер и обязательно в «России»?

– Вай, Георгий, это совсем простой вопрос: чтобы чилафек нас уважал, чтобы сразу видел – это серьезный клиент, а не бедный хайван¹, который можно крутить, как хочешь, и драть с него три цена. Хороший номер, хороший гостиниц, хороший коньяк нужен для уважения, чтобы он дешевле с нас брал.

¹ Хайван – простофиля, придурок.

– Удивительная у тебя логика, – усмехнулся Георгий, – а впрочем, что-то в ней есть. Будет тебе «Кавказская пленница», будет полулюкс.

– Вах, спасибо, Георгий! Этот маленький бокал с большим удовольствием разреши за тебя, да? Будь здоров – остальное купишь! – И Али молодецвато выплеснул водку в обросшую седой щетиной розовую пасть.

– Ну и жара, я что-то не припомню такую жару в июне.

– Ничего, жара – не холод, пошли на канава – немножко вода пускаем.

– Пошли, – согласился Георгий. Дачная канава брала свое начало в канаве более широкой, если можно так сказать, областной, официально именуемой каналом. Канал этот прорыли в начале двадцатых годов от далекой горной речки к самому городу, по тем временам это была грандиозная стройка – рыли лопатами, кайлами, землю отвозили в сторонку на арбах, рыли два года «методом всенародной стройки», зимой и летом, осенью и весной, многие так и жили в шатрах по всей шестидесятикилометровой его длине. Канал и по сей день основной источник водоснабжения города. А новый водовод все еще строится – к каждому празднику в местной газете обещают сдать его в эксплуатацию и не сдают. Завтра Георгий посмотрит, в чем там дело, в пятницу шеф ему поручил: «Выясни с водой досконально». Завтра он этим займется...

Вода в дачной канаве текла желтая и такая густая, что было непонятно, почему она течет, какие силы ее к этому побуждают?

К удивлению приятелей, у распределительной задвижки не было претендентов пускать воду на свои участки, – видно, добрые люди полили их с раннего утра. Али приподнял общую тяжелую задвижку из железа, подложил под нее служивший для этой цели деревянный брусок: густая вода тотчас хлынула из-под задвижки, омыла ему руки и потекла по острым комьям серой, иссушенной зноем канавки в сторону их участков, чтобы разойтись потом на два еще более тонких рукава, а там уже и совсем на мелкие капилляры – под каждое дерево, под каждый куст.

– Теперь мало-мало отдыхаем, часа через два закрываем, – сказал Али, вытирая о штаны руки, и они отправились прилечь в свои домики.

В домике было не так жарко, пахло сухой древесиной, бумагой, облупившейся краской, прибитой водой пылью: перед тем как сесть завтракать с Али, Георгий побрызгал и подмел пол. У окошка росла большая яблоня, тихий знойный ветер медленно шевелил ее пыльные листья, и по комнате, словно живая, переливалась благодатная пятнистая тень. Хорошо было в домике. А если снять с себя рубашку, штаны? Почему бы не снять все? Действительно – кто сюда заглянет? Никто. Георгий так и сделал и теперь лежал в чем мать родила на двуспальной железной кровати, застеленной поверх матраца вытертым байковым одеялом.

Он лежал, широко раскинув руки, с хмельным блаженством глядел в потолок, обитый дощечками, клеенный некогда белой, а теперь давно уже посеревшей и почерневшей бумагой. Дощечками от продуктовых ящиков был обшит не только потолок, но и все четыре стены домика – как изнутри, так и снаружи. Когда-то они с Али привезли полную трехтонку этих ящиков, предварительно разломанных и сплюснутых там, где они их брали, – во дворе горпищеторга. Потом была забота отдиравать от дощечек полоски железа и гвозди. Георгий отдирает их два дня кряду, пока не порезал до кости правую руку. Подняв ее перед глазами, он взгляделся в белую полоску шрама на большом пальце, и в его памяти воскресло на миг то жаркое утро, когда они ездили за ящиками. Возник грязный двор горпищеторга, заваленный пустыми бочками и ящиками всяких размеров, пропитанный многими запахами, особенно сильно – хлоркой, сельдью, подсолнечным маслом и керосином. Воскресла та жгучая радость существования, которую он испытывал тогда, разбивая молотком и сплющивая ногами в крепких рабочих ботинках ящики, что брал один за другим из кучи у пересекающего весь двор, обильно посыпанного хлоркой, прозрачного ручейка прорвавшейся канали-

зации. Он крушил эти ящики без устали, задыхаясь от молодой неловкости своих движений, от дерзкого взгляда следившей за ним из окна конторы юной секретарши, от того, что так долго не приходил Али: где-то там, в глубине, в темных недрах этого самого горпищеторга он расплачивался за ящики, – кажется, они обошлись им в две бутылки водки.

«Зря я до сих пор не влепил ему выговор, – подумал Георгий о директоре горпищеторга, – там наверняка такой же бардак, как и шестнадцать лет назад». Вытерев с шеи липкий пот, он прикрыл глаза: приятный хмель в голове, легкий полумрак, запах дощечек возбуждали память всех пяти чувств, а тут еще донесся от шоссе рокот грузовика – глухой, дальний, – видно, пригнало его порывом ветра. Если бы не Али с его трехтонкой – не построиться бы им вовек! Для постороннего человека домик был совсем крошечный, пустяковый – три на четыре метра. Для постороннего пустяковый, а для них с мамой – целое сооружение, целая эпоха. С тех пор как они его затеяли, в их жизнь вошло много нового, много такого, о чем они раньше и понятия не имели. В доме зазвучали слова: фундамент, бут, раствор, отвес, рама дверная, рама оконная, балки, хотя какие это были балки – смешно сказать – просто куски горбыля. Для кого куски, брос, отходы, а для них это были балки, и они говорили о них уважительно, как об основе своего благополучия. С тех пор как затеяли домик, вошла в их жизнь и новая точка отсчета времени, они стали говорить: «Это было до того, как мы начали строиться» или: «Это случилось после того, как мы построились».

Отец Георгия умер задолго до начала их «великой» стройки. Кажется, он умер на этой железной кровати? Возможно. Георгий не помнил этого наверняка. Когда умер отец, ему было лет девять, он запомнил из тех дней только то, что ему очень нравилось быть в центре внимания всех жителей их большого двора, замкнутого тремя двухэтажными каменными домами. Отца он любил и боялся – под пьяную лавочку тот мог отпустить Георгию здоровенный подзатыльник, как взрослому. Пьяный он был жесток, придирчив, ругал маму, – Георгий ненавидел его пьяного. Зато когда отец бывал трезв, не было лучше него человека. Какие чебуреки с мясом, какие голубцы, какую долму он готовил! Как был приветлив с мамой! Как учил Георгия постоять за себя, не плакать в драке, не жмуриться. «Бей первым! – учил отец. – Бей сильно! Не жмурься! Всегда защищай слабых и маленьких!» Не было на свете ничего такого, чего бы не умел делать отец: он умел чинить часы, радиоприемники, электроприборы, шить обувь, стирать, гладить, столярничать, рисовать, мог открыть куском проволоки любой замок, он даже умел печь «наполеоны» такой высоты и пышности, какие не удавались никому из их знакомых домохозяек, даже из старух с дореволюционным стажем. Он умел играть на гитаре и петь так красиво, что на праздники под их окнами собирался весь двор, особенно ему удавались русские народные и неаполитанские песни, которые он пел по-итальянски, хотя и не знал этого языка. Он помнил десятки стихов, песен, сказок, фокусов – на картах с веревочкой, со спичками. Где и когда он всему научился, одному богу известно. У отца не было ноги, и он ходил на протезе, но это мало кто знал; все считали, что Иван Афанасьевич просто прихрамывает, поэтому и ходит с палкой – замечательной палкой из крепкого, как железо, карагача.

В то лето, когда они начали строиться, Георгий окончил школу и поехал поступать в Московский университет на исторический факультет. Точные науки давались ему с трудом оттого, что он их не любил, а история и литература всегда нравились и поэтому казались легкими – их вроде бы и учить не надо, достаточно мельком прочесть или услышать краем уха, и все само собой укладывается в голове.

Он вернулся из Москвы, переполненный многими впечатлениями, но самое главное – жгучей, радостной памятью о своей первой женщине, о девочке Кате из Челябинска, которая поступала вместе с ним на исторический и тоже не прошла по конкурсу и с которой они простились на Курском вокзале. Георгий живо вообразил старый Курский вокзал с его зеленоватыми башенками, светлые Катины волосы (кажется, волосы были у нее совсем светлые),

ее тонкую шею, розовую мочку уха с дырочкой для сережки, запах пирожков с ливером – она совала ему в руки кулек с пирожками: «Жора, тебе долго ехать, ты все съешь! Пожалуйста, съешь!» Вспомнил он и странно поразившее его в те дни откровение: под платьем не было видно, а потом оказалось, что одна грудь у Кати меньше другой, левая... Он не помнил ее лица, не помнил, о чем они говорили, а это врезалось на всю жизнь: несоразмерность ее грудей... как предвестие той мысли, что все самое прекрасное на этом свете, самое совершенное – зачастую с изъяном. Продолжая вспоминать о Кате, Георгий вдруг подумал, что вот сейчас изобрели искусственные камни – фианиты – и делают из них бриллианты. Фианиты ничем не отличаются от настоящих бриллиантов – ни своей структурой, ни качеством, а определить легко: в натуральном камне всегда есть дефект, пусть совсем крошечный, но обязательно есть природный изъян, а в искусственном все неестественно правильно, никаких дефектов. Георгий печально улыбнулся в полусне своим воспоминаниям, с детской радостью удивился тому, что происшедшее с ним шестнадцать лет назад вдруг оформилось сегодня в мысль – его собственную, нигде не вычитанную, хотя написано об этом наверняка достаточно. Но ведь все старые мысли становятся новыми, когда мы доходим до них своим умом...

Лежа на верхней полке, он слушал монотонный гул колес под вагоном, жевал Катины пирожки с ливером и думал о своей пропащей жизни: о том, как он женится на Кате, как у них родится ребенок, как тот будет орать день и ночь, как будет катать его в коляске, как сгорят в житейской мрети все его молодые порывы и честолюбивые надежды. Ой как не хотелось ему жениться – ни на ком, хоть на Джине Лоллобриджиде; как ему было страшно – как будто во сне, когда гонятся и вот-вот поймают и некуда деться на голой дороге, а ноги ватные, еще секунда, еще одна, последняя!.. А там поймают и сотрут в порошок... Он приехал домой, оглушенный встречей с Катей, не помня, не задумываясь о том, что не поступил в университет. Думал только об одном: он считал, что должен жениться, и не знал, как сказать об этом маме. А мама, думая, что он переживает свой провал, сказала, закуривая «беломорину»:

– Ничего, сын, все что ни делается – к лучшему. Я никогда не была в Москве, но знаю – город очень большой и жить в нем тяжело. Побудь пока дома, окрепни, а на следующий год снова попытай счастья. Главное, не терять себя, не терять своего достоинства.

Мама была у него гордая женщина; кто знает, может быть, и оттого, что в ее жилах текла княжеская кровь: она происходила из старинного рода половцев, еще в шестнадцатом веке присоединившихся к России, гордилась тем, что ее дед окончил Сорбонну. А курить она научилась во время войны – работала санитаркой в госпитале, прикуривала раненым, тем, что не могли сами, и потихоньку привыкла. Она и с отцом Георгия познакомилась, прикуривая тому «козью ножку»; у отца были прострелены обе руки – он попал в самое пекло под Моздоком, их дивизия приняла на себя основной удар немецких частей, рвавшихся к нефти Грозного и Майкопа. Руки у отца потом зажили – правая разработалась вовсю, а левая лишь не до конца сгибалась в локте. Если бы в горячке не отрезали ногу, может быть, и нога срослась. «На мне все заживает, как на собаке, – часто говаривал отец. – Если бы был в сознании, не позволил отнимать ногу, наверняка бы срослась. Коновалы проклятые!» Трезвый, он никогда не вспоминал о своей ноге, а пьяный даже плакал о ней. Однажды в подпитии он показал маленькому Георгию то место во дворе бывшего госпиталя, а ныне городской больницы, где, по его мнению, была закопана его нога.

– Вот здесь, под этой белолисточкой, ее и похоронили, – сказал отец, поглаживая ствол могучего тополя, стоявшего у самого забора больницы так, что его можно было достать рукой с улицы. – Здесь. И не мою одну, потому и дерево такое вымахало – что ввысь, что вширь – на жирном, на крови.

Георгий перепугался тогда отцовского рассказа. Сколько уж лет прошло, а он до сих пор не любит бывать на той улице.

Они сидели с мамой на кухне. Георгий думал, что, наверно, придется ехать ему в Челябинск к Кате – не жениться же ему здесь, в своем городе, все будут смеяться, особенно когда родится ребенок. Мама думала о своем, а потом тихо сказала:

– У нас в гороно участки давали, я подумала – вдруг ты поступишь – и взяла, чтобы у меня что-то было...

– Ну что ты, ма, я от тебя никогда не уеду, никуда, никогда! – пылко воскликнул Георгий, впервые остро ощутив свой сыновний долг перед матерью и обрадовавшись этому чувству, как спасению, – сыновний долг избавлял его от обязательств перед Катей, которые он только что думал взвалить на себя. Мама всегда выручала его в трудные минуты, часто даже и не осознавая этого.

– Не бойся, я не уеду! – повторил он с ожесточением, окончательно решая, что жениться на Кате вовсе не обязательно, и тут же тоскливо думая, что вдруг родится ребенок и жениться будет надо.

Все обошлось и кончилось тем, что они обменялись с Катей несколькими письмами. Катя писала, что поступила работать табельщицей на завод, что занимается в волейбольной секции, – значит, ни о каком ребеночке и речи не было. Георгий писал, что мама получила от гороно, где она работала, дачный участок и теперь они собираются строить дачу. А вскорости они с мамой и в самом деле начали стройку, и Катя забывалась с каждым днем все прочней и прочней, как забывается зажившая рана. Только остался с тех пор повышенный интерес ко всем девушкам и молодым женщинам по имени Катя. Имя это стало для него чем-то вроде паролем возможной любви, близости...

Али тоже работал в гороно, зачем-то там была грузовая машина, – наверно, для того, чтобы они построили свои дачки. Недавно Георгий просматривал на предмет сокращения штатное расписание гороно, шофер грузовой машины продолжал значиться там, и у Георгия не поднялась рука его вычеркнуть.

До войны мама окончила два курса местного пединститута, потом четыре года работала в госпитале, прошла путь от санитарки до сестры-хозяйки, а как только кончилась война, ушла в гороно. Однажды, уже будучи взрослым, Георгий спросил ее, почему не осталась в медицине.

– Я боюсь вида крови и не выношу ее запаха, – сказала мама.

– А разве кровь пахнет?

– Когда ее много – пахнет.

– Но ты ведь была отличной медсестрой, я помню, отец говорил.

– Тогда была война, люди не выбирали, кому кем быть.

Многому научила Георгия дача, вместе с мамой и с дорогим Али они подняли ее своими руками. Тогда, шестнадцать лет назад, никто не хотел брать здесь участки; на месте нынешних дач стояли матерые камыши, земля была бросовая, безжизненная – камыши, солончаки, буераки. Считалось, что ничего из этой затеи путного не выйдет, а вышел настоящий оазис; считалось, что место очень далекое, а теперь – у самой городской черты.

Первым долгом они скосили на своих участках камыши, потом рыли дренажные траншеи, возили землю, навоз, ровняли, нивелировали и только к началу сентября начали строиться. Тогда Али было столько же лет, сколько сейчас Георгию, – тридцать три, а он казался совсем старым, и грудь у него была седая. Жена и двое детей Али жили тогда в ауле у родителей, а он дневал и ночевал на участке, сам работал за десятерых и учил Георгия. Али чтит мать Георгия, как святую, и всегда помнил, что его отец спас ему жизнь. Сначала хотели строить домики из самана, а потом решили из ящиков, тогда-то и поехали в горпищеторг. Сколько было работы! Почти все Георгий делал первый раз в жизни, но, видимо, сказывалась отцовская жилка – все ему удавалось на лету. «Молодец, сын, – хвалила мать, – все

нужно уметь, пригодится». Да, он был умелым, а теперь и гвоздя в доме не хочет прибить – отговаривается, что некогда, а правду сказать – просто не хочется. Скучно. Пусто...

Сон брал свое, мысли путались, рвались на цветные кусочки, пятна, смутные обрывки разговоров. Почему-то вспомнились мамины слова о том, что родилась в голодный год – в 1921-й, Георгий тоже родился в голодный год – 1946-й. Почему-то вспомнилось, что отец был на три года старше мамы, что перед войной он окончил школу речного пароходства в Астрахани и плавал по Волге, а когда вышел из госпиталя, они поженились с мамой, отец стал работать в морском порту диспетчером. В розовом теплом тумане шел Али с маленьким яблоком на ладони – первым яблочком, выросшим на этой земле. Ах, Али, Али, если бы не Али – не построиться им вовек...

– Вай, ты спишь, Георгий!

На пороге домика стоял Али с темно-зеленой, сверкнувшей в глаза Георгию бутылкой в руках.

– Слушай, два часа на дорогах голосовал – ни у кого водка нет. О чем люди думают? Еле-еле у один знакомый гаишник спирт достал, он говорит – очень сильно очищенный.

– Али, может, не будем? – прикрывая наготу лежавшими на кровати трусами, неуверенно спросил Георгий.

– Кончай, да, почему не будем? Двадцать грамм пьем, и все! Если не хочешь – совсем не пей, только со мной чокайся! Пойду к сторож чистой вода спрошу – запивать.

– Не ходи, вон канистра в углу, под тряпками, я еще утром принес из родника.

– Вай молодец, вай мужчин! Давай немножко быстро пьем, а то совсем жара замучил!..

Разговоров в этой зеленой бутылке оказалось много, – видно, спирт и в самом деле был «сильно очищенный».

*Хасбулат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену! —*

пели они в два голоса к вечеру, перекрывая кваканье и турчание лягушек на канаве. Притом слово «кинжал» Али-Баба пел «кинджал», а Георгий думал растроганно, что свою жену он бы отдал так, задаром...

Сначала их празднику мешали комары, но потом друзья перестали их замечать. Ранняя южная ночь сияла над ними. Ровной голубизной и ясностью струился повсюду небесный свет, и чудилось, что под каждой корягой, только ее отверни, – серебряный слиток. Полная шафрановая луна стояла над плоской столообразной горой, лицом к которой они сидели, а за их спинами, километрах в двух, тихо накатывали на берег морские волны. С баркасов и сейнеров, что были в этот час в прибрежной полосе, казалось, что луна не над горой, а у самой кромки прибоя, тогда как людям, жившим на горе, виделось, что она в самом море – прямо над черными силуэтами баркасов и сейнеров. Так что, живя в одном городе, разные люди видели в одно и то же время даже луну по-разному, что уж говорить о другом. Город раскинулся на узкой полосе между горой и морем – здесь Георгий родился, здесь прожил лучшую половину жизни, а может, и не половину? Может, две трети, или три четверти, или девять десятых – кто знает? Раньше он мало думал о городе, не представлял его в целом, а теперь сложилось так, что ему приходилось думать о нем каждый божий день, и постепенно город

стал казаться ему живым организмом, живым и единым – огромным Гулливером, которого нужно было кормить, поить, одевать, обувать, развлекать, обшивать, обстирывать и прочая, прочая, всего и не перечислишь.

Гора, лицом к которой они сидели, была похожа на огромный стол, покрытый до земли темно-синей плюшевой скатертью с золотыми крапинками, – это в ее складках затерялись огоньки трех древних аулов да отдельные дачи нынешних хакимов².

– Петр Великий причалил со своими кораблями и со своей свитой вон там, видишь, где огоньки аула, – Георгий ткнул пальцем в левую складку скатерти, где почти у самого края столешницы, у вершины горы, мерцали ровные огоньки.

– Вах, как он смог! – удивился Али. – До революции, что ли?

– До революции. Неужели ты не знаешь, что наш город основал Петр Великий?

– Баллах, не знаю.

– В тысяча семьсот двадцать втором году, во время второго персидского похода, Петр подошел ко дворцу шамхала³ и в пяти верстах от него стал лагерем, – тоном школьного учителя, как по писаному, вещал Георгий. – Год назад Петра провозгласили первым русским императором, и пятидесятилетний Петр был в ореоле абсолютного величия. Шамхал считал себя счастливецом, что в главном зале его дворца «Петр Великий с супругою своею имел обеденный стол». Через три дня по прибытии сюда царь отслужил литургию в походной церкви Преображенского полка и положил возле нее камень; приближенные последовали примеру государя, и в несколько минут вырос холмик. Тогда Петр сказал: «Вот вам и еще один морской порт – ворота в Персию». Так был основан наш город.

– Вах, Георгий, откуда все знаешь? – удивился Али.

– Я же историк, Али, было бы странно, если бы я всего этого не знал, – польщенно ответил Георгий, ловя себя на том, что он таки приврал Али, – не причаливали корабли Петра к аулу, гавань была намного дальше, почти там, где она сейчас, но уж очень это получалось красиво, и не приврать было просто нельзя. На то и история! – Если хочешь, я еще могу рассказать. Хочешь?

– Давай, да.

– Здесь всегда жили люди, с незапамятных времен. Ты видел, сколько на горе кладбищ? Место очень хорошее – на горе много родников, и вода в них изумительная. Главное – это вода! А узкий коридор между горой и морем позволял местным владельцам брать дань со всех караванов, а здесь ходило много купцов. Здесь провел свое войско на Индию и сам Александр Македонский. В прошлом веке на вершине горы была крепость Бурная, построенная по приказу генерала Ермолова, и 22 июня 1827 года в Бурную прибыл Тенгинский полк, тот самый, в котором позже служил Лермонтов, – тогда он был еще мальчиком, но уже через три года написал: «По небу полуночи ангел летел».

Али-Баба поднял глаза, видно, надеясь увидеть на небосклоне ангела, долгим взглядом проводил мигающие огоньки самолета, – наверно, это заходил на посадку пассажирский из Москвы, он снижался в сторону аэропорта и скоро скрылся за темными деревьями сада.

Не разбавляя, выпили еще по «чуть-чуть» спирта, запили водой из пол-литровой банки.

Али думал о том, что скоро у его старшего сына родится ребенок и он станет дедушкой, – в сентябре.

А Георгий думал о Лермонтове. Вспоминал, как мама ставила его, маленького, перед гостями на стул – в матроске, в штанишках на помочах – и он читал «По синим волнам океана». Когда подросла Ирочка, он первым делом выучил ее этому стихотворению и был

² Хаким – начальник.

³ Шамхал – князь.

счастлив, а жена бурчала: «Что ты глупостям ребенка учишь? Лучше пусть „Дядю Степу“ читает, это нужнее, это у нее могут спросить, а насчет твоего Наполеона никто не спросит».

Спирт жег гортань, и у Георгия было такое чувство, что он выдыхает керосином, – в детстве, чтобы не было ангины, бабка заставляла полоскать керосином горло.

Время от времени с моря долетало дыхание свежего ветерка: робкое, нежное, словно неземное. Оно пробегало в листьях над головами Али и Георгия, осыпая их голубым дождем небесного света. А у дороги, там, где был шалаш сторожа, изредка взывала собака – коротко, негромко, как будто только еще прилаживаясь, настраиваясь повить как следует.

– На луна воеет, сволочь, – сказал Али-Баба, глядя на неправдоподобно большую, круглую луну над горой. – Слушай, Георгий, все-таки я не верю, чтобы туда американцы ходили, наверно, обманывают, а?

– Ходили, – тоже взглянув на луну, на ее пятна, сказал Георгий, вспоминая бабкин рассказ о том, что пятна на луне – тени братьев Авеля и Каина в тот момент, когда старший, Каин, заколол вилами своего брата. Он присмотрелся – в самом деле что-то похожее, при желании можно и согласиться с бабкиной версией. Какая она у него была мировая – бабка, отцова мать! Она и окрестила его тайком от родителей в ныне давно уже снесенном с лица земли Александро-Невском соборе – был когда-то такой в их городе. В памяти Георгия промелькнуло носатое бабкино лицо, повязанное под горло белым ситцевым платочком, ее хитрые зеленоватые глазки, а потом какая-то лужайка, ручеек, овечки, брат, убивающий брата остро блеснувшими на солнце вилами.

– Слушай, – вернул его на грешную землю Али, – мой младший весной призвали, ты знаешь, сейчас на китайской граница служит, пишет – кормят хорошо. Баллах, когда я служил, нас тоже хорошо кормили – мясо давали, компот, очень хорошо.

– А где ты служил?

– Все знают, ты что, не знаешь? На флоте служил, на Каспийском военном флотилии. Да, пять лет, приехал домой – уже Сталин умер. Сейчас, говорят, их нет, а это был замечательный дело – на монитор⁴ я служил, это такой вроде подводный лодка, но немножко над водой сверху торчит и палуба солидолом смазанный, любой снаряд – фь-ю-ить – и отскочите сторону! Мой друг Ибрагим – Сорок разбойников – тоже там служил. Ты его мало знаешь, потому что он там женил и остался, а теперь приехал домой, жена привез, дети – все в полном порядке. Мы снова пять лет дружим, теперь он мой напарник, да. Мы там, на монитор, рядом с ним спали на нары, зимой волосы к стенке примерзал, да, мы очень сильно смеял, очень! Он женил на офицерский дочка, она так сильно влюбил в него, что хотел отравиться, – родители не разрешили. Да, ее мать не разрешил. Русский у него жена – Мила, очень толстый, но очень хороший!

*– Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи, —*

ни с того ни с сего ровным глухим голосом начал читать Георгий, как бы продолжая рассказ Али про его напарника, про офицерскую дочку Милу и про любовь вообще.

*– Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.*

⁴ Монитор – класс бронированных надводных кораблей для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника в прибрежных районах и на реках.

*И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.*

Али молчал, – видно, стихи тронули его душу, – он даже не посмел налить стопки, к которым было потянулся. А когда Георгий закончил чтение, все-таки налил.

– Слушай, Георгий, хороший человек это сочинял, давай за него выпьем, а?!

– Ну что ж, – Георгий покачнулся, вставая с автомобильной крыши, торжественно поднял стопку, – спасибо тебе, Али. За Михаила Юрьевича! – Он выпил обжигающий спирт, привычно задохнулся, помахал ладонью перед ртом, подождал, пока запыет Али – они запили из одной банки, – запил сам. И оба торжественно опустились на огромный лысый скат от «Икаруса». – Хочешь, я тебе еще почитаю Лермонтова? – воодушевившись, спросил Георгий.

– Баллах, читай.

– Он ведь про наши места писал, он ведь наш, слушай...

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилась моя.
Лежал один я на песке долины...*

– Я знаю, – сказал Али после долгой паузы, когда окончилось стихотворение, – это около песчаной гора он лежал, бедный чилафек... – И вздохнул тяжело, как о своем брате, и было невозможно поверить, что всего на расстоянии двух человеческих жизней русские и горцы были смертельными врагами и сходились в рукопашной, что пулю в грудь получил герой стихотворения, может быть, от деда Али или его прадеда...

Словно воочию увидел Георгий огромную песчаную гору, что возвышалась далеко за противоположной окраиной города, услышал, как свивается песок у ее подножья, как шныряют в сухой траве ящерицы, увидел, как спит над ее барханами жгучее солнце. Новый водовод проходит мимо песчаной горы, завтра Георгий будет там.

– Читай сколько знаешь – все читай! – горячо попросил Али.

*Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят, мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен...*

Где-то далеко-далеко в городе гукнул локомотив, а над морем снова летел самолет, и его бортовые огни двигались в черной синеве живыми точками.

Луна отсвечивала на зеленой бутылке, в которой оставалось уже на донышке, на банке с родниковой водой, на белых мертвых боках полиэтиленовой канистры.

*Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...*

В тишине лишь ветер шевелил листьями, да редко-редко турчала на канаве последняя неуснувшая лягушка.

*Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалеи;
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!*

Али плакал, слезы катились из его маленьких заплывших глаз, и он не стыдился их, не вытирал. Горячая волна участия поднялась и в груди Георгия, он тоже заплакал и крепко обнял огромные плечи Али. Георгий был благодарен ему за искреннее внимание, за чуткость, за то, что в кои-то веки удалось поговорить с человеком. С мамой они видятся редко, дома говорить не с кем, а на работе он весь словно в чешуе, в словах – «процент», «вопрос», «план», «имеется», «является». Ах, как он был благодарен Али! Душу словно омыло живой водой, и она была вновь готова к свободе... Они еще посидели молча, сдавив в объятиях друг друга, а потом, когда успокоились, Али спросил:

– У тебя его фотка есть?

– Что?

– Фотографий?

– Тогда еще не было фотографии, портрет есть, я тебе подарю.

– Вай, спасибо, ты настоящий друг, Георгий.

Допив спирт, решили выкупаться в главной канаве, поскольку до моря было далеко, и идти домой.

– Вода грязная, может, не будем? – нерешительно спросил Георгий, когда они подошли к заросшему стелющейся ежевикой берегу.

– Почему грязный – весь город пьет, да.

– Сначала фильтруют в отстойниках – в Студенческом озере, потом хлорируют и только тогда пьют.

– Фильтруют-милтруют, снимай штаны да давай окунем немножко – сразу легче станет. – У Али-Бабы было всегда тяжело с возвратными глаголами, поэтому он и говорил вместо «окунемся» – «окунем», вместо «смеялся» – «смеял» и т. п.

Али-Баба разделся донага, как в детстве, побросав одежду на землю, и, словно флагманский корабль, направил свое грузное тело в канаву, в ее медленно текущие воды, желтеющие под лунным светом.

– Ты смотри, она же совсем целехонькая, как они ее сюда забузовали?! – возмутился Георгий. – Кажется, здесь орудовало СМУ-2, ну я завтра покажу им, едри их мать, загоню все руководство в яму, и пусть на руках ее отсюда вытаскивают! Сукины дети!

– Вай, Георгий, ты чаще пешком ходи, – добродушно подначил его Али. – Подумаешь, и што такой бетономешалка! На Четвертом поселке беспризорный экскаватор два года стоит, я сам видел. Ковш очень большой, мальчишки туда писать ходят, очень удобно, чем домой бежать.

Между светлыми кубами домов мелькнула вдали черная качалка нефтяного насоса, уже не кланяющаяся, как в прежние времена, замершая навечно и тоже брошенная без призора. Сразу после войны здесь, в пригороде, нашли нефть и, быстренько выкорчевав виноградники, понабурили скважин, понаставили железных вышек, качалок, приготовились к

капитальной добыче, а нефть пропала, и оказалось, что зря перевели виноградники, подняли людей с насиженных мест, здешний колхоз отправили на новое место – далеко в безводную степь, а эти плодородные земли превратили в полупустыню. Ах, какая красота, говорят, была здесь когда-то, какие отборные виноградники до самого моря!

Впереди них по широкой асфальтированной улице прошел, светя окнами, троллейбус, – верно, последний, время-то уже позднее. Пуск троллейбусной линии – целая эпопея в жизни города, и Георгий принимал в этом деле немалое участие. Троллейбусом они бы добрались в десять минут, но он им заказан – мало ли на кого можно нарваться в общественном транспорте?

Когда-то, давным-давно, на месте этой улицы тянулись персидские караван-сарай с высокими глиняными дувалами, с воротами, окованными железом, украшенными гербом, – кажется, там был изображен лев с мечом в лапе, золотой лев на красном поле. Какие-то саманные развалюшки остались с тех незапамятных времен и на долю детства Георгия – он жил тут неподалеку, в так называемых домах нефтяников, мама до сих пор там живет.

Да, много чего было в здешних местах любопытного и даже исторического: богатый ремесленный город, где вырабатывали знаменитые шерстяные ткани и ковры, базары, куда съезжались купцы из дальних стран, где продавали в том числе и живой товар – рабов. Но ни от тех далеких, ни от других, более близких времен теперь не осталось нигде даже самой крохотной памятки. Все стерли с лица земли. Названия старых мест и местечек переименовали, и поскольку не хватило новейших имен на все улицы и переулки, то некоторые из них нарекли просто – «Тупик № 1», «Тупик № 2», «Тупик № 3» и т. п. Видно, простота эта пришлась по душе в канцеляриях, и тогда номерами стали обозначать целые поселки или, как сейчас принято говорить, микрорайоны: Четвертый поселок, Пятый... Раньше город был разбит на три района, потом его разбили на два, потом он жил некоторое время «без разбивки», а не так давно его снова разбили надвое. Все бы хорошо, да в административной горячке никто не заметил, что вдруг оказалось в городе три улицы имени Розы Люксембург, две – Клары Цеткин, две – Карла Либкнехта. Верно, называтели были настоящие джигиты-интернационалисты, но так и осталось загадкой, почему они отдали предпочтение создателям «Союза Спартака» перед всеми другими деятелями не только германского, но и всего международного рабочего движения. Взбунтовалась по этому поводу городская почта. Переименование четырех улиц и стало тем первым делом, которое пришлось взять на себя Георгию, когда он вступил в должность. Самую лучшую из них он назвал именем Лермонтова.

Выждав в темной тени под акацией, пока пройдут легковые машины и широкая улица опустеет, они пересекли ее трусой, перебежали на ту сторону, где еще с давних пор сохранился маленький асфальтовый заводик, прилепившийся к каменному, утыканному битым стеклом забору большого мотороремонтного завода – того самого, на который утвердили директором молодого Ивакина. На большом заводе, где-то в глубине его обширного двора, неутомимо бухал гидравлический пресс, а совсем близко, из литейки, летели в синее небо рыжие искры. На минутку остановились у засохшего, тускло блестящего под луной озера гудрона. Когда-то оно было побольше и в нем утонула корова. Георгий хорошо помнил, как бегали они всем двором смотреть, удастся ли ее вытащить. Вытаскивали корову просто – накинули на шею стальную петлю и начали крутить барабан лебедки. Медленно-медленно поднималась черная гора расплавленной, сверкающей на солнце смолы. Изможденная хозяйка рыдала, рвала на себе седые патлы, а они, дети, хихикали, с ужасом наблюдая, как растет на глазах смоляная гора с непомерно вытянутой шеей, как подвигается к берегу озера коровья туша. Маленький кривоногий хозяин в галифе и в каракулевой папахе вдруг ударил свою старуху палкой по голове; она затравленно зыркнула на обидчика и отпрянула в сторону, больше не смея плакать громко, закусив головной платок.

«Эй, ялдаш⁵, – сурово окликнул старика один из рабочих, – будешь драться – бросим барабан, и твоя корова утонет обратно, понял?!»

Хозяин испуганно и льстиво улыбнулся в ответ, умоляюще приложил к груди обе руки: дескать, прошу прощения.

Бедная корова, за что она угодила в ад? Какие у нее могли быть грехи?.. Наверное, просто перепутали – имели в виду окунуть хозяина, а по ошибке вляпалась она и сварилась в чертовой смоле.

Друзья повернули в одну боковую улочку, потом в другую. А вот и родной двор Георгия – замкнутый тремя двухэтажными домами, построенными сразу после войны пленными немцами, темный от густых и высоких акаций, пирамидальных тополей, кленов.

– Может, за-йдем к маме? – икнув, предложил Георгий.

– Ты что, чокнул? Мама давно спит, и мы с тобой пьяный как собак! – осадил его Али. За глаза он всегда называл мать Георгия – «мама», будто свою собственную, а в глаза звал ее «тетей Аней», хотя она была старше его лишь на восемь лет.

Да, мама уже спит, если не мучается бессонницей. Завтра понедельник, газета не выходит, – значит, сегодня она была весь вечер дома. Выйдя три года назад на пенсию, Анна Ахмедовна почти сразу же стала работать вечерним корректором в местной газете – людей с высшим образованием в городе были тысячи, а грамотных не хватало, так что взяли ее с распростертыми объятиями.

Мама работает и потому, что привыкла всегда работать и не знает, что еще можно делать, и потому, что приятно купить иногда внушкам подарок, и потому, что не умеет ни от кого зависеть, даже от родного сына. Вот и сидит она вечера напролет в крохотной пыльной корректорской, что приткнулась в глубине типографского двора, заваленного рулонами газетной бумаги, курит неизменный «Беломор» и время от времени, протирая батистовым платочком синеватые толстые стекла очков, читает с усталым презрением набранные петитом, корпусом, непарелью газетные строчки. Да и как ей не читать эту газетку с усталым презрением, если однажды в ней, например, была напечатана басня местного корифея, которая начиналась так: «Однажды волк, лиса и Пентагон...»

Когда идет непарель, ей приходится брать лупу. Мама плохо видит и с каждым годом все хуже, но не хочет бросать работу, хотя Георгий и говорил ей не раз: «Мама, ну что тебе эти гроши? Неужели я не помогу, когда надо!»

Но что значит – «когда надо»? Как сказать ему, что она уже не любит свой дом так, как любила прежде? Хорошо, хоть заняты вечера, а ночью ей так тоскливо и жутко в опустевшей двухкомнатной квартире, что она читает «Трех мушкетеров» или «Робинзона Крузо». Серьезная классика читана-перечитана, да с нею и не забудешься, только растравишь раны, разбередишь душу. Господи, если бы знал Георгий, как ей пусто в этой большой квартире, где всегда было тесно от гостей, на кухне вечно кипела работа, пахло жареным луком, укропом, кинзой, разваренным в борще лавровым листом; как сумно ей в комнатах, где плясали и пели, где смеялся и плакал ее маленький сын...

Следом за домом Георгия тянулся в проулке точно такой же дом. В узком проходе между домами раньше стояли высокие железные ворота, и двор был закрыт от чужих глаз, а теперь лишь ржавые петли чернели на каменных столбах, и все было как на ладони: кирпичная уборная в глубине с буквами «М» и «Ж» на фасаде, сараи, покрытые досками, огромный противопожарный бак с черной гнилой водою, водопроводная колонка под пирамидальными тополями, светло и остро голубеющими в теплом лунном свете.

⁵ Ялдаш – товарищ.

Из колонки хлестала толстая белая струя воды – родниковой, вкусной, – гулко билась о железный люк с дырочками, стекая безо всякой нужды и пользы в канализацию: видно, кто-то обкупывался недавно, спасаясь от жары, да и позабыл закрыть.

Георгий хотел подойти закрутить кран, но в последнюю секунду поленился и, минуя проход между домами, шагнул следом за Али в черную тень высоких акаций, где под стеной дома ярко белела рубашка какого-то паренька, вытянувшегося на цыпочках и положившего кисти рук на высокий подоконник своей подружки; слышался их горячий, бессвязный шепот, хихиканье.

«Пацаненок совсем молоденький, – зорким взглядом выхватывая из темноты тоненькую фигурку, подумал Георгий. – К кому это он, а? К Соньке? Нет. К Сарке? Нет. К Зойке? Нет. Адильке еще рановато. К Римке? Скорее всего, к ней. Чертовка, перехватила мой взгляд и быстрее, чем он ее коснулся, спряталась за занавеской, – реакция, как у дикой кошки! Наверное, ей уже лет пятнадцать».

Георгий хорошо знал обитателей этой квартиры – знаменитого на всю область бурового мастера Керима, его жену Марию, их девятерых дочек и несчитанных внуков. Ни сыновей, ни внуков не было у дяди Керима никогда – даже мертвые родились у Марии и ее дочерей девочки, об этом было известно всему двору.

Зато дочери выросли прехорошенькие и начинали погуливать лет с четырнадцати, так что к паспорту некоторые из них уже обзаводились своей лялькой, и в квартире стоял такой содом, что можно было понять главу этих амазонок Марию, которая выходила иной раз подвыпивши на ступеньки подъезда и начинала петь в полный голос удалые татарские песни или обкладывать русским матом первого попавшегося ей под горячую руку – в зависимости от настроения.

– Смотри, Маруся, сдадим тебя в милицию! – урезонивали ее соседи.

– Таптал я ваша милиция, я всех победу! – запальчиво отвечала Маруся, подбоченившись и притоптывая короткими отечными ногами в шлепанцах. – Таптал я ваша милиция!

Или кричала из окна через весь двор:

– Сунька, тапур застрял, жилизка, шту ли?! – Этот ее крик так и стоял до сих пор в ушах Георгия. Кричала на рубившую у сарая дрова и замешкавшуюся ангелоподобную Соньку – синеглазую, нежную, только что победившую на городской математической олимпиаде школьников и бывшую по этому случаю в своих глазах и в глазах всех дворовых подростков чем-то вроде юной английской королевы.

Сам Керим месяцами жил на буровой – в безводной степи, километров за двести от города, на западе области, где все-таки нашли промышленные запасы нефти. Домой он наезжал редко, обычно сидел угрюмо на вытертых цементных ступеньках подъезда и смотрел в небо, смотрел день, другой, третий. Потом начинал с мрачной решимостью следующую дочку и уезжал обратно в степь – к своей адской работе. Работник он был выдающийся, к нему приезжали обмениваться опытом даже из Венесуэлы.

Венесуэлец понравился Кериму.

– Хороший, я бы его взял сменщиком, – сказал Керим, а в его устах это была высокая и многословная оценка.

Неумение бойко читать по писаному с трибуны, угрюмая замкнутость, живое, искреннее равнодушие к славе и почестям делали Керима человеком неудобным для общественного использования, в президиумах он засыпал немедленно, притом с храпом, так что соседям приходилось толкать его то и дело в бок.

О нем часто писали не только в областной, но и в центральных газетах, и всегда, в общем-то, одну и ту же бодренькую чепухенцию. Лет восемь назад «Известия» закатили статью, начинавшуюся с того, что, дескать, подобно могучему дубу, окружен Керим «рощицей тонких березок разной толщины» – его дочерьми и внучками.

– Суволочь, – сказал дядя Керим, снимая очки и отбрасывая газету на ступеньки подъезда, – шашлык ел, водку пил и на всю страну опозорил, а?!

Никогда прежде не видел его Георгий в таком гневе. Самую главную боль Керима, то, что он считал своим позором – отсутствие хотя бы одного сына или, на худой конец, внука, – корреспондент взял и растрезвонил на всю страну! «И кто знает, – думал, наверное, дядя Керим, – может, прочтут газету и в его родном селе под Казанью, прочтут и посмеются над ним».

С дочерьми дядя Керим почти не разговаривал, а среди внучек признавал только белокурую Адильку – она одна не боялась деда, лезла ему прямо на голову, и все тут! Можно сказать, что Адилька завоевала деда, взяла его приступом, как крепость.

Георгий тоже, бывало, любил щелкать ее по голому, всегда замурзанному пузу и спрашивать:

– Адилька, ты кто?

И она всегда отвечала одно и то же:

– Белорусская татарка!

Отцом у нее значился белорус – из служивших в городе солдат, милый, смешной полесский мальчик, спрашивавший у матери Георгия в связи со своим отцовством: «Тетя Аня, а через четыре месяца дети родятся?»

Было у Керима много орден, много дочерей, много внучек, а ему хотелось сына. Очень хотелось. Георгий почувствовал это, когда побывал в тех краях, где работал дядя Керим и где он скоропостижно умер. В то время Георгий заведовал отделом информации в газете, и ему было поручено подготовить полосу о нефтяниках области. Пришлось лететь в степной городок нефтяников. В городке стояла невыносимая жара. К вечеру помогавший Георгию редактор городской многотиражки предложил:

– Айда к Кериму, – обкупнемся, выпьем.

Через полчаса подъехали к маленькому искусственному озеру в голой, выжженной до соляных пятен степи.

– А где же Керим? – спросил Георгий, подумавший, что его повезут куда-то вроде загородного рестораника.

– Вот это всё Керим – артезианский колодец, озерко, два тополя – люди так называют. В честь Керима... – И тут он назвал фамилию соседа Георгия по двору. – Когда-то здесь стояла его буровая, и он пробурил этот колодец, и вырыл озеро, и вырастил эти тополя. Говорят, умер, я его не знал.

Георгий подошел к топлям за оградкой, сваренной из железных труб, тополя росли рядом, плечом к плечу, как близнецы-братья, как два неродившихся Керимовых сына. Серые жесткие листья были в пробоинах от ветра с песком, что дует здесь непрестанно, но тополя стояли крепкие, каждый сантиметров по сорок в диаметре, и отбрасывали благодатную тень на железный стол, на железные скамейки у своего подножия. Кругом, сколько хватал глаз, лежала голая, растрескавшаяся от зноя степь с разбросанными по ней железными нефтяными вышками, похожими ночью на зажженные новогодние елки.

Потом они разрезали на железном столе арбуз, выпили водки, закусили килькой в томатном соусе, искупались в озере.

– Моя Тайка плавает, как лебедь, идет – вся спина кверху! – хвастался редакционный шофер.

– Неделю дома не был – уже лебедь, а то кобра была! – смеясь и отфыркиваясь в воде, отвечал его начальник.

И почему-то этот разговор запомнился Георгию, – сколько лет прошло, а он слышит их голоса, видит голубую, чистую воду артезианского озера в степи, тополя, в какой-то степени заменившие дяде Кериму сыновей.

Не было при жизни дяди Керима ни сыновей, ни внуков, а три года назад родился у Соньки Эдик. В начале апреля, когда Георгий приходил проводить мать, Эдик крепко рассмешил их. Наружная дверь квартиры была открыта настежь, на лестничной клетке перегорела лампочка, и вот они услышали из темноты, сквозь тонкую марлевою занавеску, раздаваемую сквозняком, святое лепетание Эдика и его ровесника Сашки.

– Эдик, я боюсь, там бабайка!

– Где?

– Вон там, внизу.

– Сицас его плогоним, – уверенно сказал Эдик и прямым текстом послал бабайку к едрени матери, а потом еще дальше – в египетскую тьму!

Эх, что и говорить, замечательный был у них двор! А как они играли здесь в выручалки, в жмурки, в казаки-разбойники, как бегали по сараям! Какое все было необыкновенное – и люди, и вещи, и собаки, и деревья! А может, просто: «То солнца луч из сердца с силой бьет и золотит, лаская без разбор, все, что к нему случайно подойдет!»

Пройдя черным проулком, Али и Георгий вышли на широкий, мутно освещенный перекресток; висевшая над перекрестком гирлянда ядовито-оранжевых лампочек вселяла животную тревогу; казалось, здесь что-то должно случиться или уже случилось – страшное, связанное с безнаказанным убийством и насилием.

«Если есть цвет ужаса, то он именно такой!» – не в силах подавить внезапно возникший в душе страх, подумал Георгий и все-таки протянул руку Али:

– Пока.

Али уже пришел, он жил здесь, рядом, в одном из глинобитных домишек, что прилепились один к другому еще с тех незапамятных времен, когда в этом районе процветали дома терпимости и воровские притоны.

– Провожу, да, рано спать, – не принимая руки Георгия, сказал Али; наверное, и ему передалось внезапное чувство страха.

«Какой идиот повесил эту иллюминацию цвета ужаса? Завтра же прикажу снять! – вглядываясь в ядовито-оранжевые лампочки, решил Георгий. – Скорее всего, вешали к празднику, выкрасили, да и забыли, украшатели чертовы!»

В глубине улицы, уходящей от перекрестка вправо, за базаром, гукнул маневровый паровоз, пробежал сухой лязг буферных тарелок – сцепляли вагоны.

Георгий вспомнил, что где-то там, на базаре, спит, как всегда, в уголке базарный дурачок Ибрашка – без возраста, без роду, без племени, с огромной головой и собачьей цепью у пояса, на которой он носит карманные часы. Ибрашка обожает, когда у него спрашивают:

– Который час, Ибрашка?

Он важно достает из штанов луковицу часов, открывает черным, прибитым ногтем крышку и в любой час суток отвечает одно и то же:

– Скоро полночь!

«В таком наряде я тоже недалеко ушел от Ибрашки. Ничего, плевать, никто не видел, весь город спит. Выпил – и правильно, сейчас все говорят, что нужно вовремя разрядиться! Что я, не имею права отдохнуть?! – вспомнив Надежду Михайловну, начал готовиться к бою Георгий, стараясь шагать по улице прямо, как по доске. – А выпили хорошо, крепко! И ничего страшного – плевать, главное – тихо и благородно!»

– Вай, Георгий, – прервал его мысленный спор с супругой Али-Баба, – дальше я с тобой не пойду, там топтушка ходит.

– Не понял.

– И што такой не понял? Милиционер, говорю, ваш, да. Я пошел, отдыхай хорошенько. Георгий поднял глаза, – оказывается, они уже подошли к его дому.

– Пока, спасибо тебе, Али. – Он вяло пожал протянутую ему руку.

– Тебе спасибо, спи, да. – Али развернул могучую спину и направил стопы свои в Гургур аул, что значит по-русски – аул индюков, в Тупик № 3, где проживал с малолетства.

Выждав, пока он повернет за угол, Георгий взглянул без удовольствия на темные, широкие и высокие окна своей квартиры, подумал о крепко спящих дочерях, о жене, которая наверняка похрапывает и ждет его прихода, чтобы устроить скандал: вспомнил ненавистный ему запах нафталина, которым пропахла вся квартира, – она боится, что моль съест шерстяные вещи, и пересыпает их чуть ли не каждый месяц. А моль давно адаптировалась, моль теперь питается нафталином. Георгий своими глазами видел огромную особь на куске нафталина – сидит себе, как король на именинах, и ничего ей не делается.

Не хотелось ему домой, ох как не хотелось...

И вдруг его осенило: а почему бы не пойти сейчас к Кате-самовольщице?! Если она спит, то хотя бы посмотреть на ее домик, а? Что тут плохого – посмотрит, и все. Тихо и благородно!

Георгий еще не успел решить, пойдет он к Кате или нет, а ноги уже несли его от родного дома все быстрее и быстрее...

III

Катя... Он видел ее только дважды и дважды разговаривал с ней по телефону об устройстве в детский сад ее сына.

Они познакомились в апреле прошлого года, и с тех пор Георгий постоянно помнил о ней и старался притоптать, погасить разгоравшийся огонек душевного сочувствия и мужского интереса, не давал ходу своим чувствам.

Почему?

Он не задавался этим вопросом – притаптывал и гасил машинально. Как привыкшая к шорам лошадь боялась в прежние времена живого движения улицы, так и он боялся самого себя. Впрочем, кто сейчас сравнивает с лошадьми? Кто помнит о шорах?

Они познакомились весной прошлого года.

Еще не взошла трава, еще бедный южный снег лежал серыми языками по дворам и у обочин дорог, еще держалась поздняя зима.

Георгий стоял в трусах у окна, потягивался спросонья и смотрел во двор своего дома и дальше, в соседние дворы, насколько хватал глаз в плывущем, клочковатом тумане апрельского утра. В их дворе мусорные баки были пустые, чистенькие, а в соседнем – набиты доверху так, что бумажки из соседнего двора мело и в их начальственный двор. Георгий подумал: хорошо бы как-то по-другому организовать службу горочистки. Например, ликвидировать баки, а сделать как у добрых людей, чтобы приезжала в определенный час машина, забирала мусор и тут же увозила его с глаз долой. Но он знал, что скажет горочистка. Она скажет, что нет машин, нет людей, нет пятого, нет десятого. И все это недалеко от истины, хотя ради той же истины стоило бы добавить, что нет у этого дела хозяина. Был бы хозяин – нашлись бы и машины, и люди, и пятое, и двадцатое.

Вдруг из тумана выплыли гнедая кобыла и тонконогий гнедой жеребенок, подошли к набитому доверху мусорному ящику.

Административные размышления Георгия прервались сами по себе. С удивлением и неосознанной болью следил он теперь за тем, как рожутся в мусорном баке лошадь и жеребенок, как брезгливо откидывают они мягкими губами бумажки, куски полиэтилена, мятую жесть консервных банок. «Боже мой, какая зловещая картина! – горько подумал Георгий. – Вот он, двадцатый век: асфальт, полные баки бумаги, полиэтилена, жести и прочих отходов потребления, мокрый туман, ветер, нависшая над городом лысая полуживая гора в несвежем, темном от копоты снегу и эти потерявшие так присущее им чувство собственного достоин-

ства лошади. Скоро и их истребят. Как сказали вчера по телевизору: на грани полного физического уничтожения в настоящее время находятся двести восемьдесят видов млекопитающих животных, триста пятьдесят видов птиц и двадцать тысяч видов растений. Видно, не за горами то время, когда в мертвую зону попадут и лошади. И останется только понятие „лошадиная сила“».

Зазвонил телефон. В квартире стояло два аппарата, так что Георгий не знал, к какому кинуться. Звонили по городскому – жена сообщала, что Ляльку уже сдала с рук на руки бабе Маше, а вечером забрать не сможет – семинар.

– Хорошо, забери, – сказал Георгий и положил трубку. По четвергам жена отвозила и привозила Ляльку, а во все остальные дни утром ее отвозил к няне Георгий, а забирала жена.

Георгий почесал ногу о ногу. Пора собираться на работу. Скоро за ним приедут, хотя разминки ради не грех бы пройтись пешком, но для этого надо бы вставать на полчаса раньше.

Он надел свежую рубашку, повязал галстук, надел пиджак и в трусах и в шлепанцах на босу ногу прошел в коридор к большому зеркалу – взглянуть, каково ему в новом галстуке.

В дверь позвонили – резко, отрывисто, два раза подряд, как звонит обычно старшая дочь Ира: видно, забыла тетрадку или еще что-нибудь в этом роде и прибежала из школы.

– Давай, давай, дверь открыта! – крикнул Георгий, вертясь перед зеркалом, оттягивая указательным пальцем тугий воротник рубашки.

Высокая, щедро утепленная, обитая с обеих сторон дерматином дверь неслышно отодвинулась на хорошо смазанных петлях, и в квартиру вошла незнакомка.

– Здравствуйте, я агент Госстраха, – сказала гостья молодым, певучим голосом и прыснула, увидев Георгия, закрылась ладошкой. – Ой, извините...

Георгий, не слушая ее смущенного бормотания, метнулся в комнату, теряя на ходу шлепанцы, едва не упав на пороге. Он не разглядел незваную гостью, зато она увидела его во всей красе и со всех сторон: свет из широких окон упирался прямо в трельяж, так что хозяин был как на ладони – в четырех ракурсах.

«Почему она до сих пор покупает мне эти идиотские семейные трусы, – натягивая брюки, с раздражением думал Георгий, – наверно, во всем городе я один остался в таких трусах!» Надел носки, туфли, проверил все пуговицы и молнии, причесался и только тогда выглянул в коридор. Агент Госстраха продолжала стоять у двери. «До чего настырная, такую выгонишь в дверь – она влезет в окно!»

– Проходите, пожалуйста, в комнату, вот сюда. – В богатом темно-сером костюме, в галстуке с искрой, в хорошо выглаженной рубашке, в туфлях на высоких каблуках Георгий чувствовал себя уверенно.

– Да что вы, не стоит беспокоиться, можно и здесь, в коридоре. – Женщина крепко вытерла ноги о подстилку и прошла по застланному широченной ковровой дорожкой коридору следом за Георгием.

– Садитесь, – привычным жестом указал он на стул. Улыбнулся и сказал то, что говорил по сто раз на день: – Я вас слушаю. – Сказал, соображая, почему она пришла не на службу, а ворвалась в дом. «Все-таки что за хамство вот так, ни свет ни заря врваться в дом, что за невоспитанность! Люди только о себе и думают!»

– Так я, говорю, из Госстраха, – повторила она со смущенной улыбкой на полных, красиво очерченных губах. – Что вы хотите застраховать?

Женщина сидела против света, но он видел, что она миловидна и молода. Поразил ее певучий, мелодичный голос. Георгий пожалел, что не предложил ей раздеться: ему вдруг нестерпимо захотелось рассмотреть ее как следует.

– Вы разденьтесь... я не предложил... – Он привстал и улыбнулся ей своею обворожительной детской улыбкой, показывая ровные белые зубы. – Снимите шубу...

– Нет-нет, что вы! У меня столько квартир, если везде раздеваться... – И она только расстегнула верхнюю пуговицу облезлой кроличьей шубки – совсем уже старенькой, черной, с вытертыми рукавами. Расстегнула и повторила с надеждой: – Так что вы хотите застраховать?

– Я? Ничего. У меня ничего такого нет.

– А мебель, а вот ковер и вообще всю квартиру? У вас очень много вещей. Я не видела таких хором. – И она улыбнулась ему так наивно, так радостно, что у Георгия дрогнуло сердце.

– Нормальная квартира, четыре комнаты... – Он запнулся и вдруг ляпнул: – Здесь нет ничего моего.

– Как, вы не хозяин этой квартиры? Тогда извините...

– Почему же – хозяин. – Георгий смутился. – Это я так. В том смысле, что это ведь все... жены.

– А-а... – Она на секунду задумалась, взглянула в окно. Георгий отметил, как сумрачно блеснули ее глаза цвета спелой вишни. – Что же делать? Понимаете, у меня горит план.

Привычное уху слово «план» вернуло Георгия к реальности.

– Извините, я ничем не могу помочь, – сказал он, поднимаясь со стула, давая понять, что беседа окончена.

Гостья мгновенно оценила этот его намек – вскочила на ноги, покраснела. Георгий отметил, какая у нее нежная кожа, какой замечательный цвет лица!

– Да, – вдруг остановилась она у выхода в коридор, – а давайте застрахуем вашу жизнь, она ведь точно ваша?!

– Моя жизнь... Наверно. Во всяком случае... Я как-то об этом никогда не думал... А что, это можно?

– Еще бы! Давайте! – Счастливая, она вернулась к столу. Вынула из потертой, старобразной сумочки шариковую ручку, бланки и спросила привычной, взглянув прямо в глаза Георгию своими тускло блестящими глазами цвета спелой вишни.

– На что будем страховать – на случай смерти или временной потери трудоспособности? На какой срок? На какую сумму?

– Вам видней, – скованно улыбнулся Георгий, – главное, чтобы выполнили план.

– Правильно, давайте я вас застрахую на случай временной потери, на триста рублей, на пять лет – тогда у меня будет все в порядке, а?

– Пожалуйста.

– А платить вам пять рублей тридцать одну копейку в месяц, можно по безналичному. Потянете?

– Угу.

– Тогда прекрасно! Распишитесь вот здесь и здесь...

Она ушла, оставив на столе розовое «Страховое свидетельство по смешанному страхованию жизни», запах мокрой от тумана кроличьей шубки и чувство смутной радости в душе Георгия – молодой, сильной, освежающей радости.

Он даже не спросил тогда, как ее зовут. Даже не понял – блондинка она или брюнетка. Брови и ресницы сейчас у всех черные, а на голове у нее была кроличья ушанка, завязанная тесемками на затылке, – когда Георгий был маленький, он тоже любил так завязывать шапку. Тогда и у него была кроличья, а сейчас он ходит в ондатровой и посмеивается, что шапка у него дороже головы.

Во второй раз он видел Катю у нее дома! Да, именно так и было, как говорит его старшая дочь Ира, «один к одному».

В начале этого года Георгий решил осмотреть самовольные застройки. С каждым годом самовольщиков становилось все больше, они портили генеральный план развития города,

того самого, белого, замечательного в своем изяществе линий и широте градостроительной мысли, что стоял, сделанный из белого пенопласта, в просторном кабинете шефа Георгия.

Начать осмотр решил с самого центра – был у него адресок: «Лермонтова, 25, берег моря».

«Безобразия, – думал Георгий, подъезжая к месту, – не на окраине, в самом центре развели „шанхай“! Надо его немедленно снести. Сейчас осмотрю и дам команду. Тут нечего церемониться, надо проявить твердость».

Машину пришлось оставить метров за двести, подъездных путей к самовольщикам не было – домики приткнулись под насыпью железной дороги, на самом берегу моря. Георгий был настроен решительно и сурово. Но когда спустился мимо засыпанного половой мукомольного заводика, мимо разжиревших голубей к морю и увидел, что домиков очень много, решимость его была поколеблена. «Куда же их всех девать – жителей?!» Мазанки лепились одна к одной по старинному образцу аульских кварталов, почти все они были покрыты толем, прибитым дранкой, придавленным кирпичами и камнями от лихого морского ветра. Здесь было даже электричество: среди домиков стоял одинокий столб, а от него протянулся на шестах к мукомольному заводу электрический кабель – соорудил какой-то умелец. С грохотом билось о скалы море, и брызги соленой, напоенной йодом воды достигали лица Георгия. «Жить здесь полезно, – подумал он не без ерничества. – Надо познакомиться с двумя-тремя хозяевами, поговорить с ними по-хорошему, не пугая, осмотреть все, прикинуть, – словом, разобраться по существу».

Георгий выбрал самую новую мазанку, стоящую на отшибе; ему понравилось, как хорошо обит дранкой толь на ее крыше, как прямо выведена новенькая цинковая труба. «Надо поговорить, дойти до каждого человека, а там уж делать выводы, – не без гордости отмечая свой государственный подход к делу и свое социальное благородство, подумал Георгий. – Надо помочь им в меру сил, как говорит шеф – „елико это возможно“». С этими добрыми намерениями он и постучался в легкую фанерную дверь. Дверь распахнулась, и на пороге предстала агент Госстраха: оказывается, она была светло-русая.

Он так растерялся, что не мог связать двух слов. А она смущенно запахла на высокой груди бумазейный халатик и сказала певучим, бьющим в сердце голосом:

– Ой, застрахованный! – И засмеялась сорвавшейся с языка нелепице. – Здравствуйте!

– Здравствуйте. Не ожидал вас здесь увидеть... Я, собственно, по делам службы.

– Заходите, чего стоять на пороге. – И, стрельнув глазами по подслеповатым соседским окошкам, она пропустила его в дом.

На чистом глиняном полу хибарки сидел на горшке мальчик лет четырех, у него были такие же, как и у матери, глаза цвета спелой вишни, он важно смотрел перед собой и озабоченно катал ручонкой по полу желтую пластмассовую машину.

– Извините Сережу, – кивнула она на мальчика.

– Да уж чего, – улыбнулся Георгий, – дело житейское. Давай, давай, Серега, дуйся, не ленись!

И они засмеялись все трое – легко, по-родственному, как будто знали друг друга давным-давно.

– Я уж надулся, – сказал Сережа, – я больше ни капельки не могу!

– Тогда слезай, – велела мать, – слезай быстренько!

Сережа задумчиво катал по полу машину, – видно, решал, слезать ему с горшка или нет. Как человек рассудительный, он не мог вот так сразу принять необдуманное решение. Теперь он сидит на горшке и катает машину, а там неизвестно, что его ждет. Может, заставят мыть руки? Из умывальника. А это неинтересно. Если бы из моря, он бы пошел и вымыл с удовольствием, но из моря мама не разрешает, чуть что – кричит: «Ни в коем случае!»

Все-таки его ссадили с горшка, мигом подтерли, мигом натянули на него штаны, дали дружеский подзатыльник, и мама бросилась выносить горшок, а он остался один на один с незнакомым дядей.

– Тебе сколько лет? – спросил Георгий, вспомнив, что на первый вопрос: «Мальчик, как тебя зовут?» – уже отвечено.

– А тебе?

– Мне тридцать три, а тебе?

– А ты сколько хочешь, чтобы мне было?

– Ну... четыре... или пять.

– А мне тридцать сто, понял?!

– Ты у мамы один?

– Что ты! – Сережа посмотрел на него снисходительно. – У меня еще шесть сестричков и двенадцать – четырнадцать братиков, вот таких, до неба! – И он показал рукой в потолок мазанки. – Понял?!

– Еще бы не понять, – хмыкнул Георгий, соображая, что никакой порядочной информации от Сережи ему не почерпнуть, – слишком уж у того фантазия опережает реальность.

В это время в комнатку вошла с чистым горшком Катя, сунула его под кровать на высоких металлических ножках.

– Говорит, что ему тридцать сто лет и что у него шесть сестричек и четырнадцать братиков! – пожаловался Георгий.

– Ой, балаболка, от него и слова правды не добьешься, не иначе – писателем будет! – засмеялась Катя.

Они и не заметили, когда мальчик выскользнул за дверь.

– Как вы здесь оказались? – спросил Георгий.

– Приехали. Денег хватило до вашего города, поэтому и остановились. Люди здесь хорошие, и работу я сразу нашла, повезло. Я везучая. Нас тетя Патя приютила, по-вашему – Патимат, она здесь живет, рядышком. Сначала пожилы немножко у нее, а потом построились. Очень хорошая женщина, у нее сын недавно погиб в Афганистане, совсем молоденький, гроб не раскрывали, так за эти полгода она совсем старухой стала. Вот тетя Патя и сказала мне: «Давай, Катерина, стройся!» И мы построились. Соседи помогли. Главное, удалось достать старые ящики – домик весь из старых ящиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.